Юлиан Семенов

Уходят, чтобы вернуться

Юлиан Семенов

Уходят, чтобы вернуться

Рассказы и повесть

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1961

СЕМНАДЦАТЬ В ЗЕЛЕНОЙ ПАЛАТКЕ

ПРОРАБ И СВЕТЛАНА

— Не пройти там, прораб!
— Нужно!
— Сопка вплотную к воде подходит!
— Нужно!
— Кедры в пять обхватов!
— Нужно!

Бульдозерист Жора Серегин тяжело облокотился на свежеструганый пихтовый стол и посмотрел поверх головы прораба в маленькое окошко, натертое солью, чтобы не замерзало. Прораб

хотел даже из своей клетушки видеть, что происходило на строительной площадке.

Жора достал кисет и спросил:

— Бумага есть?

Прораб подвинул ему газетный лист. Серегин свернул козью ножку, закурил. Хмыкнул под нос и сказал:

— Упрямый ты, Виталь Николаич!

Прораб ответил ему улыбкой.

— Человек — что вареное яйцо. Всмятку сварен: чуть наклони — растечется. Вкрутую: хоть юлой юли — целым останется. Так?

— Так!

— Сегодня пробьешь дорогу?

— Не знаю. Там камень да лед.

— А ты не торопясь. Я тебе десять часов даю.

— Не знаю, — снова повторил Серегин.

— Ну, будь здоров!

Бульдозерист ушел. Прораб посмотрел в окно. Путеукладчик, размахивая своей стальной шеей, осторожно опускал на мерзлую насыпь заиндевевшие на морозе рельсы.

Зазвонил телефон. Прораб снял трубку и спросил коротко:

— Ну?

Звонили из города, из управления строительства железной дороги.

— Лесосеку найди хоть из-под земли!

— Лес гнилой.

— Нужно!

— Снег рыхлый, к хорошему лесу на бульдозерах не пробьешься.

— Нужно!

— Людей мало, все на укладке пути!

Линия была забита шумами, и прорабу приходилось орать, чтобы его услыхали в городе.

— Нужно! Точка! Выполняй!

Над тайгой рождалось утро. Прораб стал на лыжи и пошел в тайгу. Лыжня петляла вдоль по выемке, потом поднималась на Томь и здесь около проруби исчезала.

— Здоров, прораб! — закричал Андрей Васильевич, лесничий. Он шел наперерез, через реку.

— Здоров, ель да палка!

— Что свет вчера пережгли?

— Ну...

— Техники, тоже мне!..

— Вы сами виноваты. Провели свет, а вы давай плитки жечь. Совесть-то в людях есть?

— Какая в людях совесть! — засмеялся лесничий и спросил: — Ружье-то зачем взял?

— А медведь?

— Стрелять умеешь?

— Кидай шапку.

— Так и дурак сумеет! А ты в шапку на голове попади.

— Что я тебе, Уленшпигель, что ли?

— У того другая фамилия, кто шапку на голове простреливал, — подумав, ответил лесничий и спросил: — Библиотеку скоро построишь?

— Тебя все равно не пущу. Махрой продымишь.

— Гордый стал, как из палатки в дом переехал! Махры испугался?

Лесничий засмеялся, но прораб уже не слыхал, что тот говорил. Подул ветер и залепил уши мокрым холодом. Начинался буран. Прораб посмотрел на восток, раздумывая, стоит ли идти. Покачал головой и пошел.

Небо, только полчаса как ставшее светлым, снова потемнело, пригнулось к земле. Прораб торопился подняться на сопку до того, как буран разыграется по-настоящему. Он обернулся и посмотрел на поселок: ничего не было видно, все потонуло в снежной пелене. Прораб уходил все выше в сопки. И чем дальше уходил он, тем тише становился ветер, но небо и здесь было низкое и нахмуренное.

Только к полудню прораб нашел хорошую лесосеку, расположенную на пологом склоне сопки, километрах в десяти от поселка. Здесь он решил отдохнуть. Развел костер, обогрел руки, достал из кармана колбасу и, нанизав ее на прутик, сунул в огонь. Потом разломил кусок мерзлого хлеба и начал обедать, перебрасывая шипящую, обуглившуюся колбаску с руки на руку. Костер уходил все глубже в снег, словно ведро в колодец. Буран стихал, небо светлело. Прораб закидал костер снегом и через час был у себя в комнате. Его ждали.

— Как быть с насыпью, прораб? Экскаваторщик Антон Силин говорит, что около Синего Лога грунт топкий, летом развезет, рельсы смоет.

— Он что, сквозь землю видит?

— Кто его знает! У него глаз соболий, с искрой.

Прораб сказал:

— Тогда пошли!

Он вернулся от экскаваторщиков, когда начинало темнеть. В комнате было жарко натоплено. Ветер швырял в окна пригоршни снега, и слышалось, будто за стеклом кто-то водил горячим утюгом по мокрой тряпке. Прораб усмехнулся, подумав о том, как давно он не гладил своих брюк. На коленях они вспузырились, словно у старика. Прораб потрогал колени, усмехнулся и включил свет.

Рядом со столом на раскладушке сидела Светлана. Прораб закрыл глаза, испугавшись. Он подумал, что это галлюцинация. Ведь Светлана далеко отсюда, в городе! Так зачем же кто-то похожий на нее сидит на его неубранной раскладушке? Зачем женщина в таежном поселке, где живут пока что семнадцать мужчин и никто больше?

Прораб спросил:

— Ну?

Светлана поднялась и сказала тихо:

— Здравствуй, Виталий!

Прораб засмеялся и поднял ее на руки. Светлана пахла хвоей; волосы у нее были пушистые, как ветви лиственницы. Обнимая его голову, она шептала:

— Виталька, Виталька, вот счастье-то!..

Хлопнула дверь. На пороге стоял Федька — взрывник из восьмой палатки. Он смотрел на прораба вытаращенными глазами и пятился назад.

— Заходи! — остановил его прораб и осторожно посадил девушку на раскладушку. — Заходи, чего там...

— Да нет уж, — ответил Федька, скривив губы, — я лучше пойду.

Прораб нахмурился:

— В чем дело?

— Да ничего, — ответил Федька, исподлобья рассматривая девушку.

— Ну! — сердито прикрикнул прораб.

— Там Леха с Киева снова в очко с пацанами играет. Да вы занимайтесь...

Прораб вышел вместе с Федькой. Светлана крикнула вдогонку:

— Виталий!

Прораб досадливо махнул рукой и ничего не ответил.

«Леха с Киева» играл в очко. На столике, сделанном из перевернутого ящика, лежали три пары часов и рублей сто денег. Вместе с прорабом в палатку ворвался ветер. Несколько десятирублевок упало на пол. Леха стремительно поднялся, сгреб рукой банк и стал спиной к столу.

— Сволочь! — сказал прораб.

— Ты зря серчаешь, начальник! — улыбнулся Леха. — К тебе приехала женщина. А нам оставь карты.

— Сволочь! — повторил прораб. — Ты у меня вчера в ногах валялся, слово дал, что карт больше не будет!

— Но ведь тогда в поселке не было женщин...

Прораб взял со стола карты и швырнул их в печку.

Леха бросился к печке. Прораб загремел:

— Стоп!

Вздрогнув, Леха остановился. Ребята сидели опустив головы и молчали. Их командир и товарищ, который столько раз выручал из беды, который отдал Власу собачьи варежки, а Жорке Серегину — унты, сейчас стоял против Лехи бледный, выбритый до синевы, в старых, вспузырившихся на коленях брюках. Пальцы у него сжались в кулаки, а глаза сузились, скрыв ярость.

— Кто проиграл часы?

— Я, — ответил Босьян, мальчишка из Еревана.

— Отдай часы! — приказал прораб.

Леха шмыгнул носом и отдал часы.

— Виталь Николаич, — сказал медлительный, добродушный Влас, — не будет карт. Слово. Идите к жинке.

— Конечно, идите. И привет от восьмой палатки передайте, коллективный! — улыбнулся Федька Кольцов, взрывник.

Прораб повернулся и вышел.

Когда прораб вернулся, Светлана поднялась ему навстречу, обняла и притянула к себе. Руки у нее были сильные.

— Ты уедешь сегодня же, — сказал прораб и нахмурился.

— Почему? — удивленно спросила девушка и засмеялась.

— Потому что не должно быть хорошо прорабу, когда его рабочие живут в палатках и умываются снегом. Ты понимаешь?

Светлана отошла к окну. Путеукладчик осторожно укладывал рельсы на стылую землю. Прожекторы резали синюю ночь.

— Ты понимаешь меня? — тихо переспросил прораб.

Светлана молчала.

Прораб свел брови в одну линию.

— Ну?

— Я шла к тебе три дня, — ответила Светлана.

Она села на самый краешек раскладушки. Прораб стоял перед девушкой. Светлана низко опустила голову. Прораб видел чудесные пушистые волосы, чуть оттопыренные розовые уши и маленькие руки, сложенные на коленях. Руки у Светланы были красные, обветренные.

— Что же ты молчишь? — крикнул прораб. — Ответь мне!

Он взял девушку за плечи и, прижав к себе ее послушное тело, замер.

Светлана заплакала, обняла его за шею и сказала:

— Я понимаю, Виталик! Я все понимаю! Я уйду!

Прораб вздохнул и подошел к телефону. Снял трубку и спросил дежурного по участку:

— Серегин вернулся?

— Нет еще.

— Когда вернется, пусть идет ко мне!

Светлана спросила:

— Когда он придет?

— Не знаю. Может быть, часа через два.

— Ты будешь занят?

— Нет. Я буду с тобой.

Девушка взяла его большую руку в свои и поцеловала. Прораб растерянно улыбнулся. Спросил:

— Ты хочешь чаю?

— Нет.

— А то я заварю...

— Не надо.

Она посмотрела на него. Сверху лицо Светланы показалось прорабу до того юным и беззащитным, что он вдруг подумал: «Я не имею права отсылать ее! Она должна остаться со мной! Ведь ребята не против...» Но девушка, словно угадав его мысли, сказала:

— Не волнуйся, Виталька. Я уеду. Иди сюда...

И прораб сел рядом с ней на узкую железную раскладушку, которую он не оправлял уже третий день.

— Я люблю тебя, — сказал прораб.

Серегин пришел через час.

— Возьмешь с собой девушку, — сказал прораб, — и отвезешь ее на Каныш. Там ходят машины до Сорбы. А оттуда — рабочий поезд.

— Сейчас десять.

— Так нужно!

— Может быть, завтра?

— Нет, сегодня!

Светлана завязала платок тугим узлом, поцеловала прораба и пошла следом за бульдозеристом.

Прораб сел к столу. Около телефона на листке бумаги лежала просушенная махорка. Прораб подвинул к себе бумагу и прочел расплывшиеся чернильные строки:

Сядь со мною рядом,
Рассказать мне надо,
Не скрывая, не тая,
Что я люблю тебя.

Прорабу всего двадцать пять лет, а Светлану он любит уже три года.

— Виталий Николаевич, генератор надо ставить! — просит его дежурный электрик. — Без вас не управимся.

— Виталий Николаевич, зайдите генплан посмотреть! — звонят строители.

— Прораб, людей на укладке мало! — ругаются в трубку укладчики.

Теперь, как только Светлана ушла, телефон звонит беспрерывно.

«Раньше не хотели беспокоить, — догадывается прораб, и нежная улыбка трогает его лицо. — Хорошие вы мои друзья!» — думает он и поднимается из-за стола, осторожно задвинув под телефонный аппарат листок со стихами.

— Позови Леху с Киева из восьмой палатки, — говорит он дежурному электрику. — Пусть со мной идет, помогать будет.

— Хорошо.

— Иди, я догоню тебя!

— Хорошо, Виталь Николаич.

Прораб выходит на улицу. Мороз крепчает. Высоко в небе стынет луна, окруженная радужным, красно-желтым сиянием.

«ТЕХНИКА — МОЛОДЕЖИ»

Прораб кончил пить чай, достал лист бумаги и начал писать стихи.

Строчки у него получались корявые:

Сопки, горы,
Пихты-дозоры,
Снег.
Ветер пургою.
Идем мы с тобою
В снег.
Тайга, река
Сильна, велика,
А кругом лишь один снег.
Крикни: А-эй!
Выстрелом бей.
Эхо?
Нет эха —
Снег.

Прораб рассердился и перечеркнул написанное. Взял со стола книгу «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» и стал читать, шевеля гу-

бами, чтобы не пропустить ни слова. Особенно понравившиеся места прораб перечитывал и удивленно качал головой.

Часов около двенадцати в дверь постучались. Прораб крикнул:

— Ну!

Никто не вошел, но стук повторился. Прораб понял, что пришел нездешний. Свои привыкли к его экономному словечку, имевшему массу смыслов и оттенков. Сердился ли прораб, просто выражал нетерпение или радовался — все можно было понять по одному этому слову.

— Входи!

Дверь отворилась. На пороге стоял человек в меховом полушубке и в пыжиковой шапке, надвинутой на глаза.

— Можно?

— Ну?

Человек растерялся. Затоптался на месте, расстегивая и снова застегивая полушубок.

— Раздевайтесь же!..

— Спасибо.

— Замерзли?

— Есть малость.

Прораб поставил на конфорку кастрюлю с водой и подбросил в печку сухих дров. Мужчина снял полушубок, шапку, и прораб увидел седого голубоглазого человека со шрамом через все лицо.

— Флеров, Александр Иванович, мастер по холодильным установкам, — представился человек и показал прорабу паспорт.

— Зимин, — пожал ему руку прораб, — Виталий Николаевич. Присаживайтесь. Чаем угощу.

Прораб перенес кастрюлю на стол и разлил кипяток в стаканы. Флеров зажал горячее стекло в белых пальцах. В тепле его лицо делалось все более красным — от висков к носу.

— Я к вам на работу, — сказал Флеров, — еле пробрался. Метет здорово.

— А у меня холодильников пока нет, — пошутил прораб, — холода и так хватает!

— Ничего. Я ведь электрик. Но не во мне дело. Я с сыном пришел.

— А где он, сын-то?

Флеров ответил:

— Я его в палатку завел. В крайнюю.

Прораб поморщился: он не любил самоуправства.

— Вы не сердитесь, — попросил Флеров. — Я вам все расскажу, так вы поймете...

И он стал быстро глотать кипяток, обжигаясь и хмуря широкие брови.

— Я, видите ли, женился...

Прораб хмыкнул и почесал лоб. Флеров быстро взглянул на него и нахмурился еще больше.

— А у нее сын был тринадцатилетний. Нет, вру, ему тогда четырнадцать было. Я Анну знал давно, но все эти годы по стройкам ездил, не до женитьбы было. Да и потом холостяки знаете какой народ... Женись я на Аннушке восемь лет назад, все, может, иначе было бы. Словом, когда я приехал в Новосибирск, к жене и приемному сыну, парень интересовался только одним — голубями.

Флеров отодвинул стакан, задумался, прислушиваясь к тому, как огонь ломал в печке дрова.

— Вижу я этих самых голубей, знаю, чем это кончиться может, если во дворе ими, голубятниками-то, здоровенный рыжий детина — Шурик по имени, Рыба по кличке — заправляет. Пошел я к себе в цехком, упал перед культмассовой секторшей на колени и вымолил подписку на «Технику — молодежи». Для меня лучше этого журнала ничего на свете нет. Стал я Пашке — сына Пашкой зовут, — пояснил Флеров, — стал я ему про межпланетные путешествия читать. А он головой качает, сквозь меня смотрит, а думает о своем. Начал я его тогда на столярное дело приманивать, новую голубятню самому делать. Нет, не забрало парня! Ладно! Человек что дверь: каждому свой ключ нужен. Попробовал я Пашку приучить кроссворды решать. Для меня это радость — кроссворд решить. Нет, не тронули эти умственные загадки Пашку. Пошли мы с ним тогда в воскресный день в магазин. Идем. Он от меня чуть в сторонке, снизу вверх глядит, исподволь.

«Дядя Шура, спрашивает, а вы на войне были?»

«Нет, говорю, не был».

«А наш папка офицером был, с орденами! . .»

Я молчу, не знаю, что ответить. Ладно. Купил я парню набор «Юный химик». Вот тогда-то он обрадовался, глаза разгорелись, чуть на месте не запрыгал. Дома он его и так и сяк вертел, все пробирочки тряпьем переложил, чтоб не побились. А назавтра сник, забился в угол, там и просидел весь вечер волчонком. Спрашиваю его, где набор,

хотел ему разные фокусы показать, а набора-то и нет. Уж потом я только узнал, что он этому Шурику Рыбе набор отдал в счет долгов своих голубиных. Набор дорогой был, чуть не сто рублей. Ладно. Смотрю я со стороны за парнем, табель его листаю — там пятерки да четверки. Пошел в школу, а мне говорят, что он уже месяц, как носу не кажет. Вернулся я домой, снял с себя ремень.

«Гад ты, говорю, самый последний! Барином растешь?»

А он кулаки сжал, белый весь сделался и отвечает:

«Попробуйте ударьте! Попробуйте! Мой отец на фронте погиб, а вы мне никто! Жилец вы у нас!»

И так меня эти слова по сердцу хлестнули, что ушел я из дому, даже с женой не попрощавшись.

Флеров замолчал и подвинул пустой стакан к кастрюле.

Прораб налил ему кипятку, но Флеров не стал пить. Он выводил пальцем по столу замысловатые узоры, внимательно разглядывая свои квадратные бугорчатые ногти.

— Сейчас сам себя казню, — снова заговорил он, — казню без пощады! Но понятно ведь, почему ушел. Не свой парень. Чужой как-никак. А от чужого обида всегда больней, особенно если к нему со всем сердцем идешь, как к родному. Да... Вернулся я домой через два дня. Жена лежит на кровати и головой о стену бьется: ночью Пашку за воровство забрали.

Сначала я ее успокаивать стал.

«Оставь, говорю, не тужи. От баловства это. Все у него было: и колбаса, и стол, и бабка, что кашу варила. Так ему, сукину сыну, и надо!»

А она в ответ:

«Какой бы он сын ни был, а я ведь ему мать...»

Да... Подумал я, каково сейчас парню, вспомнил его, лохматого, большеглазого, так у меня сердце и заломило. Какая-никакая образцовая, а детколония и есть детколония. Тюрьма, одним словом. Небо в клеточку да четыре стены. Ладно. Взял я на работе отпуск на пять дней и к нему поехал на свиданку. Привели Пашку ко мне — стриженого, в ватнике, побледневшего, — я и заплакал. Как увидел он, что я плачу, так даже просветлел весь.

«Папа, говорит, не сердитесь. Я скоро выйду. Вы мне «Технику — молодежи» выпишите, папа!..»

А у самого глаза словно блюдца с талой водой весенней.

Ладно. Отпустили его через год. Сейчас ему пятнадцать с половиной. Приехали мы с женой за ним — из колонии брать. Вышел он из ворот, кинулся к нам и, как щенок малый, об руки трется. А потом мать обнял и шепчет ей:

«Ты уж прости меня, мамочка!»

Так, понимаете ли, «мамочка» и сказал. Как дите, крохотное совсем. Да!.. У парня душа, конечно, чистая, грязи не прилипло, сразу видать. Ладно. Пошли мы с ним в город. Спрашиваю его:

«В кино хочешь?»

«Мороженого, говорит, хочу, папа».

Купил я ему полушубок, шапку, да сюда прямиком и махнули, даже домой не заглянув. Анна, умница, слезы на вокзале не проронила. Я ее при Пашке-то даже поцеловать не решился на прощание, чтобы парню сердце не терзать. А он добрый. Ушел в вагон, нас двоих оставил.

«Не тужи, Анка, — сказал я жене. — Обживемся, ты к нам приедешь».

А она улыбнулась так грустно-грустно и спрашивает:

«Технику — молодежи» перевесть вам в тайгу?

«Не надо, — ответил я, — там техники хватит. Она там покрепче, чем в журнале, должна быть. Построже».

Да... Ну вот мы и приехали.

Флеров замолчал. Дрова в печке стреляли в железную заслонку, просясь к людям. Прораб сидел, низко опустив голову, сцепив сильные пальцы.

— Где сын?

— В палатке, я же сказал.

Прораб поднялся.

— Пошли!

Снег навалился на людей и стал заигрывать с ними, словно котенок с бумажками: то слева, то справа ударит пушистой своей лапой. Низкая луна освещала десять домов, не покрытых крышами. Возле каждого дома была палатка. Внизу, на берегу Томи, стояли еще десять домов, сложенных пока что наполовину.

В крайней палатке было холодно. Пашка, сын Флерова, сидел около печки и ворошил кочергой синие головешки. Он был одет в такой же, как и у отца, полушубок. Увидав прораба, Пашка поднялся и снял с головы шапку. Голова у него была крутая, круглая.

— Здравствуй! — сказал прораб и протянул ему руку.

— Здравствуйте, гражданин начальник! — ответил Пашка и покраснел.

— Я тебе не гражданин, а товарищ! — улыбнулся прораб. — Садись. Что встал?

Пашка присел на краешек стула.

— Нравится тебе у нас?

— Я не знаю.

Ребята, сбитые с ног дневной усталостью, тихонько посапывали и что-то бормотали во сне. Босьян улыбался: ему снилось счастье, большое, как Севан. Прораб потормошил Леху с Киева за плечо. Леха открыл шальные глаза, зачмокал губами, отбросил одеяло и потянулся за ватником — одеваться.

— Подвинься, — тихо сказал прораб, — я нового привел.

Леха снова зачмокал губами, прыгнул под одеяло и подвинулся на самый край.

— Ложись к нему, — сказал прораб Пашке. — А вы, — он обернулся к Флерову, — у меня переночуете.

— Давай, сынок, спи, — кашлянул Флеров и, нахмурившись, спрятал глаза под бровями.

Пашка сбросил тулуп, обернулся к отцу и

вдруг по-детски, всем лицом улыбнулся ему. Флеров снова кашлянул и пошел следом за прорабом.

Пурга металась веселая, как форель. В воздухе пахло весной, хотя еще только начинался декабрь.

МОЯ РОДНАЯ ИНДОНЕЗИЯ

1

Верховный Совет помиловал Пивоварова и заменил расстрел заключением в исправительно-трудовую колонию. Когда Пивоварова этапом доставили в колонию, он узнал эти далекие места: лет двадцать тому назад бродил здесь с поисковиками и скупал золото у старателей.

На работу Пивоваров ходить отказался. Он целыми днями лежал на нарах, закинув руки за голову, и вспоминал те далекие времена. Он вспоминал, как однажды он забрел в маленькое, затерянное среди гор хакасское селение. Близился престольный праздник. Хакасы лили в ведро кипятка бутылку водки и пили это варево мелкими глотками. Потом началась драка. Проводник Вася объяснял, что такое плохой праздник, а что такое хороший.

«Хорошо гулял, — говорил он, — плетень разбирал, морду бил. Плохо гулял — плетень не разбирал, лица не бил».

Пивоваров ухмылялся, вспоминая, как в селение впервые пришел учитель. Хакасы по очереди щупали стекла учительских очков и хохотали до колик.

Воспоминания эти, нагроможденные одно на другое, рождали в Пивоварове острое чувство злобы.

Но Пивоваров устал от злобы. Она, словно астма, душила его сорок три года. И это постоянное чувство духоты, которым сначала он так гордился, а потом берег, сейчас стало мешать ему. Пивоваров старел, и ему уже не хватало сил ненавидеть так, как он умел ненавидеть раньше.

Через несколько дней после его приезда в барак пришел начальник и спросил:

— Так, значит, работать не желаете ни в какую?

— Тут для меня работы нет. Я все больше по интеллекту специализировался раньше. Вам это слово понятно, начальник?

— Знал я ваш эсэсовский интеллект, — ответил начальник. — В общем-то, конечно, как знаете. Можете лежать. А можете пойти в библиотеку: поступили из букинистических магазинов новые книги, надо бы их разобрать...

Пивоваров начал работать. Он просиживал в библиотеке до ночи, зачитываясь Мериме и Стендалем. Как-то раз он перечитал рассказ Лондона «Медвежье мясо». И вдруг ему с такой силой захотелось свободы, обыкновенной, звериной свободы, что он, закусив пальцы, глухо застонал и

рванул воротник рубахи. Назавтра Пивоваров раскопал на полках «Атлас Сибири» и начал готовиться к побегу, заново изучая самые глухие уголки Хакассии и горной Шории.

«Тайга, глушь, людей нет. Хакасы не в счет. У них пересидеть зиму, достать документ — и в Россию».

Когда маршрут был ему ясен до самых последних мелочей, Пивоваров вошел в драмкружок и поставил «Свадьбу Кречинского». Сам он исполнял роль главного героя. Пивоварову аплодировали, вызывали на бис. Тогда-то он и попросился у начальника в зачетную бригаду. Неделю он выполнял нормы на полтораста процентов. Бригада ходила далеко в лес пилить дрова для лагерной пекарни и бани. Отсюда он сбежал. Бригада была ударная, людям верили, и поэтому хватились Пивоварова только вечером, когда кедры и пихты превратились в единое целое и стеной стали на пути преследования.

2

Шорец Никандр Кошкин снова остался один в своем доме, заброшенном в глухой угол тайги. Его сын Афоня только поутру ушел обратно на стройку железной дороги: он работал плотником в строймонтажном поезде и приходил к отцу в гости, взяв отпуск на четыре дня.

Кошкин подметал пол, когда в дом вошел Пивоваров. Никандр обрадовался: человеку в тайге

всегда рады, человек приносит новости, а всякая новость дороже беличьей шкурки.

— Входи, входи, что стал на пороге? — сказал старик. — Холода пустишь, снега пустишь.

Пивоваров прикрыл за собой дверь, отряхнул снег с ватника и валенок, снял шапку и только тогда вошел в комнату. Никандру это понравилось: даже сыновья его относились к отчему дому без должного уважения. Они не чистились у порога, а прямо шагали к отцу, оставляя на полу быстро растекавшиеся лужицы снега.

— Здоров, старый, — сказал Пивоваров.

— Здоров, молодой, — усмехнулся Кошкин.

Пришелец был моложе лет на двадцать, но все равно Кошкину было неприятно, что его называют стариком.

Пивоваров огляделся: на стенах висели репродукции с картин передвижников. Над железной, с никелированными колпачками кровати на деревянной полочке стояли бюсты Пушкина и Орджоникидзе.

— Зверя много в лесу? — спросил Пивоваров, не зная, о чем говорить со стариком.

— Много зверя, много, — кивнул головой Кошкин и начал раздувать самовар: когда человек приходит из тайги, не надо спрашивать, хочет ли он горячего чая с хлебом, сахаром и медом, смешанным наполовину с тертой малиной.

Кошкин поставил на стол самовар, два стакана, плошку с медом и банку рыбных консервов.

— У тебя нож есть? — спросил он Пивоварова. — А то открыть нечем.

— Потерял я нож, старый...

Кошкин принес свой длинный охотничий нож. Он поднял руку, прицеливаясь в самый краешек железной банки. Ударил и — промахнулся.

— Давай я, — предложил Пивоваров.

Кошкин чуточку обиделся, но отдал нож. Пивоваров открыл банку быстро, и Кошкин даже удивился, откуда в таком худом человеке столько силы и ловкости.

После первого стакана, разомлев, Пивоваров спросил:

— А водка у тебя есть?

Кошкин засмеялся.

— Есть водка, есть. Сын привез, подарок давал.

Выпили водки. Старик опьянел и начал хвастаться:

— Сынов у меня много. Пять целых сынов... Два офицеры, в погонах ходят. Один ба-альшой начальник, в городе сидит, по телефону разговаривает, бумаги пишет. Другой далеко-далеко книги в городе читает, а еще один здесь, в тайге, работает.

Пивоваров насторожился:

— Что, каждый день приходит к тебе?

Кошкин засмеялся:

— Каждый месяц приходит, зачем каждый день?

Потом Пивоваров лег спать. Во сне его мучали кошмары: как будто Павлова в Мариинском театре танцует, а потом вдруг лицо у нее делается таким, как у старика Кошкина. И вот уже совсем и не ба-

лерина она, а Кошкин со своими сыновьями. Стоят и с чекистами шепчутся. Пивоваров закричал — и проснулся. Кошкин сидел за столом и смазывал лыжи жиром.

«Куда это он собрался?» — быстро подумал Пивоваров.

— Поспал хорошо? — спросил Кошкин. — Черта не видел?

— Целых двух видел, — ответил Пивоваров, — и все чернокожие. А ты куда это собрался, дед?

— В тайгу собрался, капканы смотреть собрался...

— Сейчас и пойдешь?

— Сейчас и пойду...

— Чайком побалуемся?

— Можно побаловаться, можно, — согласился Кошкин.

Пока он возился с самоваром, Пивоваров поднялся, прошелся по комнате. Остановился рядом со стариком и спросил:

— А кто это у тебя на полочке стоит, волосатый?

— Где?

Пивоваров показал пальцем на Пушкина.

— Не знаю. Сын принес, хороший человек, говорил.

Пивоваров засмеялся и почувствовал, как у него над бровью забился пульс.

— Читать-то ты умеешь, старый?

— Умею читать, умею, — кивнул головой старик и, подняв с пола самовар, понес его на стол.

— И паспорт умеешь читать? — тихо спросил Пивоваров.

— Умею, все умею.

Пивоваров покачал головой:

— Не верю я тебе, дед.

Кошкин достал из комода паспорт и две похвальные грамоты от «Облупушнины». Все это он положил на стол перед Пивоваровым и стал заглядывать через его плечо, наблюдая за тем, как пришелец листал паспорт и разглядывал грамоты.

«Зачем он собрался в лес? — неотвязно думал Пивоваров. — К чекистам хотел идти? Зачем?»

— Молодец, дед, грамоты у тебя хорошие, — говорил Пивоваров, думая: «Зачем он смазывал лыжи? А может быть, не к чекистам?»

— А я, понимаешь, дед, геолог...

— Знаю, что геолог, знаю...

— Откуда ж ты знаешь?

— Я все знаю, все знаю, — тихонько сказал Кошкин.

— Хотел прямиком до Абакана дойти, да вот, видишь, заплутался.

— Плохой ты геолог, плохой. Тут и плутать нечего. Прямо через сопки, — и Кошкин махнул рукой в сторону, противоположную Абакану, — два дня идешь, Абакан придешь...

Пивоваров пил чай и мучительно думал о том, как правильнее поступить. Чай был горячий и ударял в нос березовым соком.

— Что, на березе варишь?

— Зачем на березе? Плитка такая... Ты пей, пей, хороший чай, сердце греет.

Вдруг глаза Кошкина широко раскрылись, и он быстро сказал:

— Я все умею, читать умею, твой паспорт читать умею...

— Молодец, старый, — засмеялся Пивоваров, — грамоте выучился.

Поднялся. Взял со стола нож и попробовал о ноготь остроту лезвия. Кошкин улыбался и мешал большой ложкой чай в стакане. Пивоваров подошел к старику и ударил его кулаком в подбородок. Никандр упал и сказал тихо:

— Плохой ты человек, я тебя медом кормил...

Пивоваров ослеп, закричал что-то, в рот ударила противная пена, вкусом похожая на мыло. Он упал на старика и несколько раз полоснул старика ножом по шее. Потом поднялся, допил чай, вытер нож об одеяло, достал из комода стариковский паспорт, похвальные грамоты и ушел из дома.

Теперь Пивоваров бежал на лыжах. Мела пороша, заметая следы, словно дворник. Постепенно дыхание у Пивоварова успокоилось, и он прибавил шагу, торопясь уйти как можно дальше от таежного домика Кошкина. Уже к вечеру он спустился с сопки на лед реки.

«Томь, — решил Пивоваров. — Теперь все в порядке. По Томи я дойду до Абакана».

Он решил перебраться на правый берег — посмотреть, может быть, удобнее идти именно там, вдоль по тайге. Пивоваров поднялся наверх и оста-

новился, растерявшись: поверху, по правому берегу, шли железнодорожные рельсы.

«Черт, сбился, — решил он. — Я сбился с пути. Здесь нет никакой дороги. Тут не может быть никакой дороги, потому что это тайга, топь. Здесь не для кого вести дорогу, здесь нет людей. Да, я сбился с пути».

Пивоваров остановился. Голова его горела, и мороз рвал лицо множеством мелких, острых щипцов. Пивоваров застонал. Злоба снова поднялась к горлу и остановила кровь железными тисками.

«А может быть, прицепиться к поезду?» — вдруг подумал Пивоваров. Злость отпустила свои руки, и он вздохнул свободнее. Злость жила в нем и боялась его смерти. Пивоваров достал стариковский нож, подошел к елкам и начал срезать нижние, сухие ветки. Он оперся плечом о ствол дерева, и в ту же минуту что-то огромное, белое, холодное сорвалось и ухнуло вниз, порвав провода, шедшие вдоль полотна. Пивоваров сглотнул комок и прижал дрожащие руки к груди: огромная глыба снега сорвалась с дерева оттого, что он качнул ствол. Сотни мелких снежинок забрались за воротник и теперь превращались в воду, щекоча тело, вызывая озноб.

— Сволочь, — ругнулся Пивоваров, чувствуя, как у него по-прежнему дрожит челюсть, — сволочь проклятая!

Даже снег сейчас показался ему черным и раскосоглазым, словно лицо хакаса.

3

— Пашку позовите, — приказал прораб, — сына Флерова.

Пашка, работавший теперь на стройке связистом, пришел через десять минут.

— Слушай, Паша, — сказал прораб, предлагая парню садиться, — связь нарушена. Вроде на сто семьдесят седьмом километре. До утра, конечно, можно и подождать, но...

— Зачем же до утра? — опустил брови Пашка. Прораб заметил, что у него всегда опускались брови, когда он удивлялся.

— Через час совсем стемнеет...

— Я за час дойду. А обратно — по полотну. Успею.

— Успеешь?

— Успею, — Пашка достал из кармана пятак и ловко подбросил его в воздух. Поймал, разжал ладонь и улыбнулся: — Видите, орел.

— Ты это брось, — сказал прораб, — ерунда какая-то...

— А я ничего, — улыбнулся Пашка, — я просто так...

И он пошел в тайгу, на сто семьдесят седьмой километр. Туда, где сидел у костра Пивоваров и, недвижно глядя в огонь, думал все об одном и том же проклятом, неотвязном слове: «зачем?» За этим словом стояла вся его жизнь. Раньше он никогда не произносил этого слова, потому что ему мешали люди, у которых он был все время на виду.

...После первого провала, в сороковом году, Пивоваров был слишком озлоблен, чтобы думать над простым и логически в общем-то необходимым вопросом: «зачем?» Когда началась война, ему было не до этого: он был пьян жирным запахом крови, крови мщенья. Всякий разгул в конце концов немыслим без рассола. И Пивоваров впервые начал задумываться над проклятым вопросом: «зачем?»

Пашка увидал человека у костра и обрадовался.

— Э-ге-гей! — закричал он.

Пивоваров вздрогнул. В каждую клетку его существа вошел ужас, стремительный, как вихрь, и такой же холодный.

«Нашли! — пронеслось в мозгу. — Нашли!»

Следом за этой мыслью пришла усталость: «Ну и пусть. Все равно: зачем?»

И впервые он решил: «Незачем...»

Но помимо воли, подчиняясь привычке, выработанной всей его жизнью, Пивоваров поднялся, закидал костер снегом, стал на лыжи и начал уходить вниз, к реке.

— Эгей! — снова закричал Пашка. — Подожди, товарищ!

Пивоваров оттолкнулся палками и заскользил с насыпи вниз, на лед реки.

Удивление Пашки перешло в тревогу. Он снял с плеч кошки, моток проволоки, швырнул их под телеграфный столб и понесся следом за человеком.

Пивоваров бежал не оглядываясь, чувствуя, как холодные руки встречного ветра туго упирались в его разгоряченный лоб.

«У меня жар, — подумал он. — Я болен. Что им надо от меня? Все равно ведь — конец...»

Пивоваров слышал, как человек нагонял его с каждой минутой.

«Наверное, молод, — решил он, — быстро бежит».

Пивоваров бросил одну палку, достал нож старика и, обернувшись, остановился. В серых сумерках человек, бежавший следом, казался маленьким, меньше, чем он был на самом деле.

Пашка вскинул голову, когда человек был в десяти шагах от него.

— Руки подыми, — сказал Пашка нерешительно.

Человек поднял одну руку, отвел ее назад и с силой швырнул что-то.

«Граната!» — пронеслось в мозгу у паренька. Он съежился, ожидая неизбежного. И в ту же минуту что-то тяжелое ударило его в плечо... Пашка зашатался, схватился рукой за грудь и почувствовал, как под ключицей тонко-тонко заболело. Он поднял руку еще выше и ощутил рукоять кинжала. Было не очень больно, только страшно. Грудь сделалась мокрой и горячей. Пашка зажмурился и вытащил нож. Его всего передернуло. К горлу подошел комок, и Пашка вытошнил прямо на ватник. Он вытер рот и бросился следом за человеком. Он нагнал его около полыньи, когда до поселка оставался километр. В ночи пере-

мигивались огоньки в домах и было слышно, как гудит мотор на пилораме. Пивоваров стоял, глядя на огни. Впереди — поселок. Слева — зеленая пасть полыньи, справа — рельсы железной дороги.

Пивоваров глубоко дышал, а по лбу его катились наперегонки — как ребята с горки во время масленицы — быстрые капли пота, вкусом похожие на слезы или кровь. Хотя и то и другое одинаково по вкусу.

Пашка часто жмурился, чтобы прогнать из глаз зеленые кошачьи круги, которые возникали теперь все чаще и чаще. Человек, которого он преследовал, был как десятка в мишени: как раз посредине этого проклятого зеленого круга.

— А-аа-а! — закричал Пашка, но ветер дул встречный, с поселка, и нес в тайгу гул мотора на электростанции вместе со словами песни «Моя родная Индонезия», которую проигрывали в клубе по десять раз за вечер.

Тогда Пашка снял лыжи и пошел, подняв высоко над головой нож. Пивоваров слушал песню.

Морями теплыми омытая,
Ветрами вешними согретая,
Моя родная Индонезия...
Любовь моя...

...Впереди — поселок в тайге, который не имел права быть. Справа — рельсы дороги, о существовании которой ничего не сказано в «Атласе Сибири». Позади — человек, которого он не смог убить. Слева — полынья, которая была всегда.

«А — зачем?»

И Пивоваров стал пятиться к полынье до тех пор, пока не упал в воду. Ему стало хорошо, жар прошел. Зеленая вода Томи стала целовать его виски и тащить за собой, на дно, на камни, поросшие слизью...

КАК ФЕДЬКА ТРЮФЕЛЬ СТАЛ ФЕДЬКОЙ ВЗРЫВОМ

1

Пассажирский поезд пришел с опозданием на два часа. Федька Кольцов бросился к вагону-ресторану. Заспанный официант поджидал его на подножке с деревянным чемоданом в руке.

— Сколько тут? — спросил Кольцов.

— Сколько хотел, — ответил тот, передавая чемодан, — тысяча.

— А не врешь?

— Чего же врать? Не в первый раз-то. Раньше сотню брал, теперь тысячами орудуешь — и то мало.

— Растет благосостояние советских граждан, — весело ответил Кольцов и сунул официанту толстую пачку денег, — держи, спекулятивная твоя харя.

— Сам больно хороший, — ответил официант и зевнул. Поплевал на пальцы, приготовился считать. Спросил: — Сколько здесь?

— Сколько хотел.

— А не врешь?

— Чего же врать-то, не в последний раз ведь, — ответил Федька и пошел к лошадям, придерживая полу тулупа, чтобы не билась о чемодан.

Шофер Жора Серегин, приехавший на станцию получать первую машину для колхоза, вышел из маленького домика вокзала. Увидев, как Федька прятал чемодан в сено, он крикнул:

— Людей грабить отправляешься?!

Федька вздрогнул, быстро обернулся и, делано засмеявшись, ответил:

— Мне стыдно тебя слушать.

— Трюфель ты, Федька, — сказал Серегин, — точное мое слово, так я про тебя девчатам и скажу. Погодил бы, может? Мне машину заводить бы помог...

— Трюфель тебе поможет, — обиженно поджав губы, ответил Федька и тронул лошадей.

Спекуляцией Кольцов стал заниматься недавно и совершенно случайно. Работа конюха нравилась ему до тех пор, пока за сеном приходилось ездить далеко в тайгу, пока надо было дежурить ночами около лошадей, потому что крыша в старой конюшне могла каждую минуту рухнуть. А теперь, когда, кроме него, работали еще два конюха, когда новый председатель Тутер, старый большевик, тридцатитысячник, наладил дело с кормами и построил новую конюшню, Федька Кольцов заскучал.

Однажды, вернувшись из райцентра домой, в Белый Лог, который от железной дороги отстоял на сто километров, Федька привез несколько пачек московских сигарет с томным названием: «Ароматные».

Старший конюх, дядя Коля, попробовав новинку, сказал:

— Федьк, продай пачку, я тебе два рубля дам вместо полутора. Больно дым у них вкусный, бабу порадовать охота.

Федька продал ему две пачки, две — ветеринару, а остальные пять штук — бригадиру Шорину. С девяти пачек он положил в карман четыре с полтиной чистой прибыли. В магазине таких сигарет не было. Из райцентра привозили только три сорта: «Север», «Беломорканал» и «Дюшес с ваткой». «Дюшес» лежал под стеклом, заснеженный мухами. Когда прежний председатель сказал как-то в райпотребсоюзе, что «Дюшес» в Белом Логе ни с ваткой, ни без ватки не требуется, ему ответили:

— Пусть курит сельская интеллигенция.

— А что она, дура, интеллигенция-то? — спросил председатель.

— Ну, знаешь, дура она или не дура — не нашего ума дела. А «Дюшес» пускай курит — культуру насаждать надо.

— По шести рублей за пачку? — тихо заметил председатель и вздохнул. Спорить не стал. Он вообще не умел спорить и стоять на своем. Это был не Тутер.

Федька стал привозить в Белый Лог «Аромат-

ные». Сначала сотню, потом три сотни, потом больше, больше, а сегодня уже вез тысячу.

В этом он находил увлекательное: гнать по тайге субботним вечером, успевать к поезду, тайком получать у официанта сигареты, потом, передохнув самую малость, мчать обратно и утром в понедельник выходить на работу как ни в чем не бывало.

Правда, превратившись в коммерсанта, Федька стал в чем-то трусливей. Он, например, начал бояться времени. А основания к этому были: вчера еще мужские босоножки можно было купить только в Иркутске, да и то простояв в очереди часа три, а сегодня — пожалуйста — появились в Белом Логе. Пока малиновые, но все-таки босоножки. И хотя мужики, надев скрипучие обновки, не могли смотреть друг на друга без смеха, жены их жмурились от удовольствия.

Дядя Евсей, самый хитрый в деревне мужик, купил за пятьсот рублей чешский костюм, на радостях подвыпил и стал убеждать всех встречных:

— А я заграничные костюмы ношу! Во! Сегодня — захочу — в поле в ем отправлюсь. Девкам сердца поразбиваю, потому как взаимная международная торговля.

До Белого Лога осталось километров десять, не больше. Кольцов то хлестал лошадей, то бежал рядом с санями. Он должен был приехать домой если не раньше, то, во всяком случае, в одно время с машиной. С Серегиным в колхоз вернется

председатель Тутер, узнает, что Кольцова нет на месте, — и не миновать тогда разноса.

Но как на грех именно тогда, когда до Белого Лога осталось всего ничего, замела, закрутила пурга. Круглое кроснощекое лицо Федьки с маленьким носом-морковкой сделалось злым. Он закричал на лошадей высоким, отчаянным голосом и хлестнул с оттягом по мокрым, тяжелым крупам.

— От сука! — ругнулся Кольцов и, спрыгнув с саней, пошел перед лошадьми, взяв их за поводья. Идти было трудно, он то и дело нагибался, присматриваясь, не сбился ли: как раз здесь лес кончался и дорога вырывалась в поле. Вдруг сзади раздалось подряд несколько глухих гудков. Федька обернулся, но ничего в беспроглядной белой пелене не увидел. Через несколько минут гудки повторились. Теперь уже совсем рядом. Федька подумал: «Наверное, председатель с Серегиным». Но подумал он сейчас об этом без злобы и досады: в пургу всегда лучше троим, чем одному.

Из белой снежной стены, чуть не врезавшись в сани, выскочила тупая морда машины.

— Эй! — крикнул Тутер, высунувшись из окна машины. — Федор!

— Мое почтение, Карл Иваныч, — ответил Кольцов, подбежав к нему.

— Иди-ка ты со своим почтением! — в сердцах ответил председатель. — У нас бензина нет. Если на первой скорости при такой погоде ехать — остаток за пять минут сожжем. Померзнем, к черту, машину погубим. Мы на холостом ходу по-

стоим, а ты беги домой, организуй две канистры бензина и жми обратно, как спутник.

— Выручай, а то хана, — попросил Серегин и сократил обороты мотора до минимума.

Федька Кольцов любил фантазировать. Сейчас он представил себя героем романа: от него и только от него зависит судьба двух людей и машины. Если не он — все погибло. Погиб председатель, погиб Серегин, погибла машина! А как за нее бились, за эту новую колхозную машину...

— Будет бензин! — крикнул Федька и потащил за собой лошадей в белое душистое одеяло, залепившее гагачьим пухом снега рот, нос и глаза.

Федька полз по полю, страшась потерять дорогу. Он ложился на грудь, разгребал снег, тонким чутьем конюха узнавал стойкий запах лошадиного навоза и по нему определял санный путь, сейчас заметенный бураном. Ноги у него промокли, колени саднило, а пальцы совсем побелели.

Федька пулей ворвался в Белый Лог, не заходя домой, перепряг лошадей, достал на складе бензин и, скинув тулуп, в одном только ватнике, бросился в пургу, в степь, на выручку к людям. Он мог бы, конечно, бежать не так сильно — все равно теперь уже было ясно, что успеет. Но нет! Федька спешил, падал, поднимался и бежал, бежал, задыхаясь жарким своим девятнадцатилетним дыханием.

Когда Кольцов подбежал к машине и протянул Тутеру канистру, он ожидал чего угодно, но только не того, что услышал,

— Молодец Трюфель, — сказал председатель, — хвалю.

Федьку словно молотком по лбу ударили. В деревне нет ничего страшнее прозвища: деготь с ворот соскоблить можно, а кличку, да еще такую лихую, вовек не соскоблишь, никогда от нее не отвяжешься.

— Карл Иваныч, я не Трюфель, — сказал Федька звенящим голосом. — Зачем вы меня так? Пожалуйста, нате...

— Нате, пожалуйста, — поправил его Серегин, — Трюфель и есть. Об остальном — завтра в сельмаге.

Наутро Федька пришел в магазин.

— Привет, торговля, — сказал он продавцу и поставил сумку на прилавок. — В этом колобочке сто пачек «Ароматных». С вас две сотни и рукопожатие.

— Рукопожатие можно, а две сотни отменяются.

— Мне шутки шутить не время, — ответил Федька, — мне деньги считать охота.

— Сто сорок рублей желаешь? По номиналу.

— Слушай, Анатолий Федорыч, ты брось, я ведь... — но Кольцов не договорил. Он поднял глаза и обмер: на полках лежало никак не меньше двухсот пачек «Ароматных».

— Откуда это? — спросил Федька тихо.

— Карл Иваныч вчера привез, с Серегиным. Мы их теперь с базы получаем.

— А ну, покажи, — попросил Федька. Он взял пачку, осмотрел ее со всех сторон и положил обратно. Сомнений быть не могло: настоящие «Ароматные», рубль сорок пачка, Краснодарского совнархоза.

— А мои Московского совнархоза, — вздохнул Федька. — Может, поароматней?

— А ты сравни. Хочешь, закури, — предложил продавец. — Бесплатно, я денег не возьму.

Федька хотел послать его куда подальше, но не успел, потому что в магазин вбежала Маша, самая голубоглазая девушка в районе.

— Да ты не серчай, Трюфель, — сказал продавец. — всяко бывает в жизни-то...

Кольцов выскочил из магазина. Маша смеялась вместе с продавцом, потому что и ее отец раньше покупал сигареты у Федьки.

Белый Лог смеялся три дня. Колхозники смеялись даже в тот день, когда Серегин и Кольцов, попрощавшись со всеми, уходили в тайгу, на строительство железной дороги через Саяны. Но это был добрый, беззлобный смех. Когда на душе у людей хорошо и радостно, тогда можно смеяться, и плох человек, который боится такого смеха...

— Нехороший ты парень, Жора, — весело сказал Федька, когда домики Белого Лога скрылись за сопками, — зачем ты меня Трюфелем обозвал?

— А ты знаешь, что такое трюфель?

— Знаю, не бойсь!

— Я-то не боюсь, а вот ты — не знаешь.

— Да отстань ты со своими трюфелями! Конфета это! Со стоимостью.

— Во-во, ничего не знаешь.

— Знаю, — упрямо повторил Федька, — шестьдесят рублей за кило. Как бездымный порох.

— Так слушай, порох. Трюфель — это самая распространенная еда у буржуазии. Гриб такой, под землей растет. Уразумел?

Федька опешил.

— А я тут при чем?

— Как — при чем? Ты ж акулой буржуазии был. Спекулянтом...

Кольцов остановился и сказал:

— Если ты меня так тиранствовать будешь, езжай один. Я на другую стройку уйду.

— Без нервов, — попросил Серегин, — я замолчу, когда мы сядем в вагон. А пока я себе аппетит трюфелями раздразниваю, чтоб в чайной порубать как следует.

...Вдали показался домик вокзала. Снег скрипел, словно новые сапоги.

Когда Серегин и Кольцов сели в поезд, Жора положил свою огромную руку на плечо Федьки и попросил:

— Не серчай, браток, что было — забудь.

Федька не ответил. Он неотрывно смотрел на пробегавшие за окном пихты, на поля, голубые под лунным светом, на небо, усыпанное звездами, и радовался, несказанно радовался той жизни, в которую он ехал.

2

Земля на узкой таежной поляне была теплая и мягкая. Федька Кольцов вдавился в эту землю. Только левую руку он выбросил далеко вперед, чтобы удобнее было смотреть на секундную стрелку часов. Стрелка передвигалась, цепляясь за каждое деление на циферблате. Раскаленный диск солнца стоял высоко в небе.

«Шею сожжет. Почему белый шарфик не надел?» — досадливо подумал Федька и замер: сейчас, через пять секунд, должен был произойти взрыв.

— Федь, — шепнул Серегин, лежавший в соседней траншее, — что-то не рвет.

— Рванет, — пообещал Федька и легонько дунул перед собой. Сразу же поднялся ленивый фонтанчик пушистой пыли.

«Грязный я, наверное, — подумал Федька, — просто ужас. Вернемся в поселок, дорвусь до реки».

Прошло лишних пятнадцать секунд, а взрыва все не было.

— Федь, — снова шепнул Серегин, — не рвануло.

Кольцов оторвал голову от земли. Потом приподнялся и посмотрел перед собой. Проклятая кряжистая, похожая на бычий лоб сопка торчала попрежнему как раз на линии будущей просеки. Прораб послал Федьку, бульдозериста Жору и пять лесорубов пробить путь к Машенькиным ключам; там геологи решили ставить рудник. Надо

было проложить путь для тракторов и машин с оборудованием. Федька, Серегин и лесорубы продирались сквозь знойную, душную тайгу, рвали маленькие сопки, а с этой, бычьей, возились уже третий день, и все без толку. А машины и тракторы геологов ждали в поселке. И прораб ругался: Серегин и Федька до зарезу были ему нужны на трассе...

Прошла минута. Бикфордов шнур запальника сгорел. А взрыва все не было. Федька крикнул лесорубам, лежавшим позади Серегина:

— Братки, давай бегом в тайгу!

— Зачем? — спросил Серегин.

— А что им тут, кадриль хороводить? Вдруг рванет...

— Вдруг! — передразнил его Жора. — А вдруг не рванет? Что, мне так и лежать в земле?

— Убегай с ребятами.

— Убегай, — снова передразнил Жора. — А ты?

— Я! Я! — обозлился Федька. — Я взрывник. Мне видней. Убегай! — крикнул он, обернувшись к Серегину.

Жора не двинулся с места. Он смотрел на Федьку и улыбался.

— Убегай! — снова крикнул Кольцов. — Не богом же тебя просить!

— Никуда я не побегу.

— Побежишь!

— Нет. Без нервов. Я же сказал: нет.

Тогда Федька легко выскочил из траншеи и встал во весь рост на маленьком бруствере, обложенном дерном. Бычья сопка, последняя преграда

на пути к руде, последняя задержка к возвращению на трассу железной дороги, торчала по-прежнему зло, упрямо выпятившись круглыми каменными глыбами.

— Ты что, сдурел? — спокойно спросил Серегин из своего укрытия.

Федька ничего не ответил. Жора повторил свой вопрос, но уже тише. Федька опустился на корточки и сказал:

— Не говори глупостей, Жора. Туда ведь все равно идти придется. Шнур-то новый надо проложить? Или нет?

С опушки закричали лесорубы:

— В чем дело?!

— Да так, ничего! — ответил Кольцов, прижав ко рту ладони, чтобы было слышнее.

— Вместе пойдем шнур прокладывать, — сказал Серегин и осторожно выполз из своей траншеи. — А страшно, черт его дери!

— Переживем. У тебя махорка есть?

— Ты ж некурящий.

— Ладно, сверни цигарочку.

Серегин снова опустился в траншею и свернул там две цигарки.

— Иди сюда, покурим, — предложил он.

— Иди ты сюда, — ответил Федька с бруствера, — там душно. Пыль.

— Ты не форси, Федька. Тоже мне Чапай. Лезь ко мне, говорю! Вдруг рванет?

Воздух в тайге был синий, хвойный, напитанный терпким запахом отцветшей черемухи. На каменистом склоне сопки, поросшем желтой травой,

как раз на том, который надо было взорвать, надрывались цикады. Изломанные жарой кусты подняли к желтому небу кривые, страшной формы ветки и словно застыли в мольбе о влаге, дожде, который несет с собой цветение и прохладу.

«У меня вроде нарыв на пятке, — рассеянно подумал Федька, — бежать трудно будет».

Жора из траншеи не вылезал. Курил он неторопливо, пуская синие колечки. Федька рвал цигарку тяжелыми затяжками, покашливая.

— Ну, я пошел, — сказал он, затянувшись напоследок. — С пламенным приветом!

— Дурак! — убежденно заметил Жора и вылез из траншеи. — Вместе ведь пойдем.

— Нельзя, Жорик, — ответил Федька и вздохнул. — Мне, думаешь, одному охота?

Федька посмотрел на Жору, улыбнулся ему и, прихватив с земли круг бикфордова шнура, побежал к сопке, туда, где в камнях лежала взрывчатка. Жора, низко согнувшись, побежал следом за ним. Федька услышал шаги, обернулся и, выхватив из-за ремня красный флажок, поднял его над головой. Этот мандат у взрывников открывает любые двери так же легко, как и закрывает их. Красный флажок над головой — все обязаны лежать в укрытии.

И Жора остановился: он не мог не подчиниться приказу.

Федька бросился вперед, больше не оборачиваясь. Бычья сопка вырастала на глазах, она неудержимо приближалась к нему, она наваливалась на него, молчаливая, настороженная, гото-

вая каждую минуту взорваться, раскидав вокруг огромные глыбы.

Федька бежал, мягко ступая на носки, чтобы не тревожить землю, в которой лежала взрывчатка. При каждом его шаге потрескивали скользкие, ломкие сосновые иглы. Это потрескивание Федьке каждый раз слышалось грохотом. Таким же сильным, как и удары сердца. Около сопки, там, где начались камни, Федька остановился на секунду, страшась обернуться: позади была жизнь, а впереди лежала взрывчатка, которая прорубает дороги, усмиряет реки, дает руду и убивает людей.

Капли пота катились по лбу и щипали глаза. Подошвы сапог скользили по камням, и Федька каждый раз замирал, весь сжимался, но лез все выше и выше.

«Нет, нет! — думал он. — Ничего не может быть. Жорка, тайга, птицы, солнце, пыль на земле — все это вокруг меня! Нет, нет! Все будет хорошо!»

Лучи солнца стали холодными, по спине ползли мурашки, затылок был в испарине. В тайге попрежнему пели птицы.

Федька все ж таки поскользнулся. Упал. До взрывчатки оставалось всего несколько метров. Федька побоялся встать. На какую-то долю минуты ему захотелось подняться и побежать прочь, в траншею, к Жорке. Он вытер со лба пот и пополз, завороженно глядя на камни, за которыми начиналась маленькая, совсем неглубокая штольня. Федька подполз к камням, прижался всем телом к сухим, желтым травинкам, замер на се-

куйду, а потом рывком поднялся. Заглянул в штольню и сразу же опустился на корточки. Потом лег на спину и судорожно, со всхлипыванием рассмеялся. Шнур выскочил из детонатора и сгорел, не дойдя до него примерно с сантиметр.

Солнце нещадно жгло шею. Надрывались цикады, вспарывая своим криком томительную тишину полдня. Федька обернулся, и лицо его сморщилось в растерянной улыбке: позади, метрах в десяти от него, стоял Жора Серегин.

— Что? — спросил Жора.

— Все в порядке, шнур выскочил, — хрипло ответил Федька.

— Пошли обратно?

— Погоди. Дай отдышусь малость.

— Закурим.

— Не хочу. Во рту пересохло.

Серегин сел на камни и сказал:

— Ну я натерпелся я страху!

Федька вздохнул и ответил:

— А я — ничего. Профессия, понимаешь, такая...

III.)

Люди бросали в воздух шапки. По рельсам, довольно отфыркиваясь, шел паровоз «ФД» с одним прицепным классным вагоном. Это был первый перед смычкой пробный рейс по участку трассы, построенному бригадами прораба. Этот участок, так же как и поселок, и дорога к руднику, и кинотеатр «Космос», и детсад на двадцать

граждан, был построен в рекордные сроки Жорой Серегиным, Лехой с Киева, Федькой Взрывом, Пашкой и остальными ребятами — неисправимыми романтиками, таежниками и землепроходцами.

Воздух был синий и ласковый. Но люди не видели ни зеленой реки, ни пихт, облитых солнцем, ни ручьев, которые пенились белыми гривами на перекатах. Сейчас люди видели только один паровоз, который осторожно подминал под себя рельсы, и не было для них ничего радостней этой картины.

Вел паровоз отец ветерана стройки экскаваторщика Антона Силина. Того самого Силина, который зимой разгадал топь около Синего Лога и заставил прораба заново пересчитывать генплан и делать непредусмотренный крюк в сорок метров.

Помощником машиниста стоял комсомольский секретарь депо Иван Брежко, а кочегаром — Юрка Софьин, тоже комсомолец. Такой состав бригады был подобран с умыслом, чтобы лишний раз отдать дань уважения комсомолу — сердцу и запевале строительства. Установленный Пашкой на сосне репродуктор дрожал от натуги. Гремела музыка. Почти через каждую песню звучала «Молодая гвардия».

По плану, предусмотренному постройкомом, экскаваторщик Антон Силин должен был подъехать к полотну, подсыпать на насыпь несколько ковшей грунта, а потом, подняв кран, как светофор, открыть путь паровозу, из окошка которого выглядывал машинист Сергей Иванович Силин —

усатый старик, совершивший сегодня первый рейс по новой трассе и последний — в жизни. Машинист уходил на пенсию: начинало пошаливать сердце.

От прелой травы, укрывавшей землю, поднимался пар. В небе метались ласточки. Ручьи пенились на перекатах белыми гривами.

Несчастье случилось в половине первого. Силин насыпал четыре ковша грунта, но в тот момент, когда он поднял последний, пятый ковш, заело кран. Силин выскочил из кабины и, покраснев от досады, побежал смотреть, в чем дело. И в эту минуту кран сработал, — ухнул вниз, зацепив ковшом экскаваторщика. К Силину, лежавшему на траве, которая начинала краснеть от крови, протиснулся доктор Зия Куниятов.

— Если через час его доставить ко мне в больницу, он будет жить.

Антона Силина подняли и понесли к паровозу. Старик Силин, увидав окровавленное тело сына, стал белый как снег.

— Ты чего, Антон? — робко спросил он.

Сын молчал.

— Да что ты, Антоша?!

Антон открыл глаза, взглянул на отца и снова зажмурился.

И в ту же секунду Силин-отец почувствовал, как в сердце вошла боль. Сначала боль была острая, как игла. Потом вдруг она растеклась по груди несносным жаром, и Силин тяжело грохнулся, подломив под свое грузное тело правую руку.

У доктора Зии затряслись губы. Он пощупал

холодную руку старика, приложился ухом к груди и сказал:

— Это инфаркт.

Все посмотрели на помощника машиниста Ивана Брежко. Тот старательно вытирал концами руки, измазанные в масле. Никто не произносил ни слова. Никто не имел права ничего говорить, потому что на транспорте существует устав. ПТЭ. Правила технической эксплуатации. Это очень мудрые правила. Один из пунктов гласит, что паровозом может управлять только машинист. Помощник обязан подбрасывать уголь в топку, следить за приборами и строго выполнять все приказания машиниста. Виновные в нарушении правил несут суровое наказание, вплоть до суда.

Комсомольский секретарь Иван Брежко перестал вытирать пальцы, бросил промасленные концы на землю и сказал кочегару:

— Пойдем, Юрок.

Люди ни о чем не спрашивали. Люди поняли, что комсомольский секретарь пошел на нарушение ПТЭ.

Иван Брежко работал с Силиным всего двадцать дней. Он вообще-то всего двадцать дней как стал помощником машиниста. Все эти двадцать дней Иван наблюдал за тем, как старик Силин передвигал реверс, устанавливал засечку, открывал регулятор. Но никогда Иван не думал, что сделать эти три движения так страшно, так мучительно страшно. Даже на велосипед впервые страшно садиться. Иван почему-то вспомнил, как лет десять тому назад к нему в пионерлагерь при-

ехал отец. Иван тогда не умел ездить на велосипеде, и ребята дразнили его за это «Небесным тихоходом». Отец спросил:

— Хочешь, научу в один присест?

— Хочу, — ответил Иван.

— Ну, пошли, — сказал отец.

— Пошли, — согласился сын.

Они взяли у пионервожатой велосипед. Иван взобрался в седло и попросил:

— Только крепче держи, папка.

— Ладно.

— А то упаду.

— Не упадешь, — ответил отец и крикнул: — Жми!

Иван нажал на педали и завалился набок. Отец поддержал его. Иван нажал на педали еще сильней и поехал.

— Ох, здорово! — воскликнул он. — Пап, смотри, как здорово!

Отец молчал. Иван обернулся и не увидел отца. Он растерянно завертел рулем и упал. Поднялся, развернул велосипед, сел в седло и поехал обратно. Отец дожидался его на скамеечке. Он сидел, закинув ногу на ногу, и посмеивался.

«Сейчас мне нельзя падать, — подумал Иван, прежде чем подойти к реверсу, — просто никак нельзя».

— Еще уголька, Юрок, — попросил он кочегара, — еще, дорогой!

Высунувшись из окошка паровоза, он крикнул:

— Заносите людей! Едем!

Все видели, как паровоз резко взял с места. Потом встал. Снова рванулся. Люди кусали губы, потому что представляли себе, как переносят эти рывки отец и сын Силины. Паровоз зло зашипел и оттолкнулся от рельсов толстой струей белого пара. Колеса начали вращаться все быстрей и быстрей. Паровоз пошел плавно, без толчков. Паровоз пошел в поселок, где была больница.

Прораб и доктор Зия сидели рядом с белым стариком Силиным. Антон повернулся на бок, чтобы никто не видел его лица.

— Потерпи, старина, — сказал ему прораб, — пожалуйста, потерпи.

— У, зараза! — прохрипел Антон. — Плечо рвет! Мочи нету!

Доктор Зия мельком взглянул на часы и покачал головой: прошло уже больше двадцати минут, а паровоз только что тронулся с места.

— Спокойно, доктор, — улыбнувшись, сказал прораб, — мы успеем. Верно, Антон?

— О, слушай! — вскипел доктор Зия и взмахнул руками.

Его, доктора с трехмесячным стажем, всегда бесило прорабовское медлительное спокойствие. Сейчас это спокойствие казалось доктору Зии особенно неуместным.

— Антон, — спросил прораб, — ты ничего?

— Ничего, — прохрипел тот и сплюнул кровью, — потерплю! Ты, доктор, не волнуйся.

— Ох, слушай! — снова вскипел Зия Куниятов. — Не успокаивай меня, я и так холодный!

— Ты хочешь сказать, спокойный. Спокойный, а не холодный.

Зия раздул ноздри, замотал головой, но смолчал.

Прораб отошел к окну. Вагон был классный, обитый желтыми деревянными планочками. В никелированных массивных подставках тонко дребезжали пузатые графины. Плюшевые диваны вдоль стены были низкие и до неудобного мягкие.

— Сергей Иваныч, — улыбнувшись, спросил прораб Силина-отца, — это вагон начальника дороги?

Старик кивнул головой.

— А он у вас толстый?

— Не, — шепнул старик, — как жердь.

— Тогда ничего, — сказал прораб, — а то диваны больно уж мягкие. Но для острой кости ничего, в самый раз.

Прораб приоткрыл зеленые шторы и весь вдавился в окно. Потом он схватил ремни и с силой рванул створку на себя. Высунулся и закричал:

— Э, машинист!

Паровоз шел под гору, колеса зло перестукивались с рельсами, белый пар стелился по коричневой охре откоса. Голова помощника машиниста в смотровом окошке паровоза показывалась только на мгновение. Иван Брежко смотрел на путь и сразу же убегал к топке — помогать кочегару и следить за приборами.

— Э! — снова закричал прораб, но еще громче. — Э, машинист!

Иван Брежко увидел прораба, улыбнулся ему и закивал головой: мол, все в порядке. И снова исчез в паровозе.

А было далеко не все в порядке. Паровоз пошел по другой ветке, по той ветке, которая вела к руднику. А протянута эта ветка была всего на восемь километров. Потом, сразу же за поворотом, после того как дорога выходила из сопок, рельсы кончались, потому что дорогу пересекала река. Ничего этого не знал, да и не мог знать Иван Брежко. Все это знал прораб.

— Что ты вопишь, слушай! — рассердился доктор Зия. — Больных нервируешь.

— Поди ты, — сказал прораб, — знаешь куда!..

Зия Кунпятов увидел его побледневшее лицо, взбухшие под кожей желваки и замолчал, крепко сжав руку Силина-отца.

Тот разлепил холодные синие губы и спросил:

— Что, напортачили?

За окном промелькнул столбик. На нем была укреплена дощечка с цифрой «5». Значит, до реки, до того места, где кончались рельсы, осталось пять километров.

— Где стоп-кран? — спросил прораб.

— В классном нету, — прошептал Силин-отец и повторил: — Напортачили, черти... — Посмотрел на сына и жалобно спросил: — Антоша, ты как?

— Идем, Юрок! — закричал Иван Брежко и яростно швырнул в обжигающую пасть топки полную лопату угля. — Идем ведь, а!

— Идем! — так же радостно ответил кочегар, и на его лоснящемся негритянском лице засверкала сахарная белизна зубов.

— Я знаешь чего боялся? — спросил Иван.

— Чего?

— Как с места пойдем.

— А я боюсь, как останавливаться будем.

— Ерунда!

Иван Брежко подбежал к окошку, высунулся по пояс и, залюбовавшись стройной шеренгой кедров, выстроившихся вдоль полотна, рассмеялся, счастливый:

— Экая красота, Юрок!

— Да уж, красота, — ответил кочегар. — Я все руки отмотал!

— Ладно, ладно, — улыбнулся Иван, — сыпь жарче. Там прораб в вагоне руками машет, тебе в помощники просится.

— А чего ж он машет? — удивился кочегар.

— Кто его знает... Торопит, наверное...

Прораб не смог вылезти через окно на крышу: не проходили плечи. Тогда он подбежал к торцовой двери и схватился за ручку. Повернул. Навалился плечом. Дверь на площадку, с которой можно было перелезть на паровоз, оказалась запертой.

— Где ключ? — быстро обернувшись, спросил прораб.

— Какой ключ? — удивился доктор Зия. — Не знаю, о каком ключе ты говоришь.

— От двери на площадку.

— У меня, — прошептал старик Силин.

Прораб обрадованно вздохнул и кинулся к старику. Тот размежил веки и сказал:

— В пиджаке у меня.

Прораб увидал, что старик лежит в одной полосатой рубахе.

— А пиджак-то где? — спросил он, холодея.

— У ребят...

— У каких ребят?

— В паровозе...

Прораб снова метнулся к двери, налег на нее плечом и стал давить во всю силу своих железных мышц. Дверь не поддавалась. За окном промелькнул столбик. На нем была укреплена дощечка с цифрой «2». Силин-отец поднялся на локтях. Доктор Зия сказал:

— Слушай, вам нельзя подниматься.

— Ладно тебе, — ответил старик жалобным голосом. — Скажи, чтоб стекло бил.

— Виталий! — крикнул доктор. — Стекло бей!

Старик Силин посмотрел на сына и шепнул:

— Антоша, больно тебе?

— Ничего, — ответил сын и перестал скрипеть зубами.

Прораб сорвал с себя пиджак, обернул им руки и что есть силы ударил в стекло. Надсадно заныли костяшки пальцев. Стекло осталось целым. Прораб обернулся и забегал глазами по салону. Почему-то из всех предметов, находившихся там, он видел сейчас только одни диваны. Диваны, диваны, сплошные диваны стояли в салоне. Плюшевые. Красного цвета. С кисточками понизу. И пузатые

графины беззаботно дзинькают в никелированных аккуратных подставках.

«А ну, спокойно!» — прикрикнул на себя прораб и обвел взглядом салон еще раз. Ни ломика, ни топора нигде не было.

«Зачем начальнику дороги топор?» — подумал прораб и, обмотав кулаки пиджаком, ударил по стеклу еще раз. Бесполезно.

— Зия!

— Что?

— Иди сюда!

Доктор подошел к нему.

— Держи меня за голову, Зия.

— Зачем, Виталий?

— Ну!

Зия уперся руками в затылок прораба. Тот напружинился, вскинул сильное тело и что есть силы ударил в стекло коваными каблуками сапог. «Трень!» — хрустнуло стекло, пошло белой метелью, рассыпалось по полу.

Зия не удержал прораба, и они грохнулись на пол. Прораб вскочил и стал голыми руками выбивать острые зубья стекла. Потом забросил в разбитое окно сначала правую ногу, потом левую и оказался на торцовой площадке. До лестницы паровоза, по которой можно было забраться на тендер, оставалось метра два. Придерживаясь за поручни, прораб осторожно ступил на буфер. Потом, приноровившись, подался всем корпусом вперед. Он сморщил лицо и широко растопырил пальцы, чтобы не пропустить лестницу. Ладонь ощутила холод стали. Прораб схватился за поручни, под-

тянулся и полез наверх, на тендер. Смешно балансируя руками, он побежал по скользким камням блестящего на солнце угля к будке машиниста.

— Идем, Юрок! — крикнул Иван Брежко в десятый раз. — Даешь скорость! — И запел:

Наш паровоз, вперед лети,
В коммуне остановка,
Иного нет у нас пути...

— В руках у нас лопата, — закончил Юрка-кочегар и обернулся, чтобы набрать угля. Отскочил, испугавшись. Из тендерного люка на него ползли ноги, обутые в тяжелые сапоги. Через мгновение из люка выскочил черный прораб и закричал:

— Тормози!

Иван Брежко почувствовал, как у него похолодели руки. Он спросил:

— А в чем дело?

Прораб выругался и захрипел отчаянно:

— Стой, говорю!

Брежко подскочил к пульту управления, закрыл пар и включил тормоза. Они завизжали противно, как поросята под ножом. Но паровоз еще шел по инерции. Паровоз продолжал идти, хотя тормоза были приведены в действие и пар закрыт наглухо.

Прораб высунулся в окно. Замер. Поворот кончился. Через двести метров рельсы обрывались в реку, в острые камни крутого берега.

Тормоза по-прежнему визжали, а паровоз катился вниз, под уклон.

Тайга кончилась. Рельсы вырвались на зеле-

ный луг. У берегов торчали камыши. Коричневые в свете ярких солнечных лучей, сейчас они казались синими. В веселых маленьких озерах лежали зеленые блюдца нераспустившихся лилий.

Брежко медленно повернул голову и посмотрел на прораба. Тот сжимал и разжимал кулаки, изрезанные стеклом.

Тогда Иван взялся обеими руками за реверс, перевел его на задний ход и сразу же открыл регулятор. Тормоза завизжали еще противней. Паровоз резко тряхнуло, словно вздыбило. Швырнуло вперед, потом назад, потом снова вперед. А потом паровоз остановился.

Прораб опустился на маленький кожаный стул, вмонтированный в стену, и жалобно сморщился.

— Давай угля, Юрок, — сказал Иван Брежко деревянным, глухим голосом, — побольше угля, Юрок. Пойдем задним ходом.

БУЛЬДОЗЕРИСТ ЖОРА

— Берегись! — стынет в сопках.

— Гись! Ись! И-и-и! — балуется многоголосое эхо.

И вдруг будто молотком ударили по железной бочке: половина огромной скалы медленно поднялась в воздух, разломилась на части, замерла на секунду и рухнула вниз, на дорогу. Ручей, бормотавший что-то, замолк, но потом снова заговорил, быстро и невнятно.

— Бульдозер давай! — кричат внизу, у моста.

По обе стороны завала на дороге стоят машины, уткнувшись друг в друга, словно слепые котята. Шоферы закуривают все сразу, как по команде. Они торопятся и нервничают, потому что сегодня суббота и солнце уже садится за гору, а впереди еще два перевала.

— Давай бульдозер! — кричат они маленькому бригадиру в белом от известковой пыли ватнике.

— Да на танцах он, — отвечает бригадир, — пойди-ка его вытащи!

— Я вот тебе сюда «Крокодил» вытащу! — сердится Петя Оболенский, шофер из 16-й мехколонны. — Бульдозерист, видите ли, танцует, а у меня график на флейте играет, да?

Бригадир кончает чесать затылок и уходит.

— Слушай, не ори ты, — на ходу оборачиваясь к Оболенскому, досадливо говорит он, хотя тот не произнес ни слова, потому что раскуривал новую сигарету.

Бульдозерист Жора Серегин — огромный, курносый, стриженный под бокс.

В рабочем клубе сегодня танцы, и Жора стоит у окна рядом с буфетчицей Лизой. Лиза — беленькая, с косой вокруг головы. У нее есть сын Ванька. Лиза считает, что в нее влюблены начальник участка, Федька Взрыв, два шофера, моторист Арон и бульдозерист Жора.

Сегодня Жора в бостоновом костюме. Масляное пятно на лацкане он прикрыл букетиком

цветов, а галстук завязал узлом величиною с кулак.

— Лиза! — говорит он и вздыхает, наблюдая за тем, как маленькое красное солнце прячется за сопки. Приходят сумерки. Синие, они словно небо, опустившееся на землю. — Я, Лиза, как вы знаете... — продолжает Жора, хочет сказать что-то еще, но замолкает. Почему-то именно в этом месте он замолкает уже четвертую неделю подряд. — Лиза, я думаю, что мне надо...

— Ой, Жора, вы похожи на киноартиста Бориса Андреева! — смеется Лиза. — Просто ужасно!

— Я вашего Ваньку люблю, — вздыхает Жора, — я его на бульдозер с собой беру, чтобы привыкал...

Лиза перестает смеяться. Жора хмурится и собирается сказать что-то еще, по-видимому очень важное. Но в это время к нему осторожно подходит бригадир.

— Жора, не сердись на меня. И не кричи, чтобы я шел к родственникам, — осторожно просит он и галантно здоровается с Лизой. — Жора, на дороге завал, и машины не могут идти.

Лиза молчит и смотрит на Жорин наморщенный лоб. Жора тоже молчит, потом машет рукой и идет следом за бригадиром.

— Позже зайти не мог? — спрашивает он.

Бригадир ничего не отвечает и прыгает с камня на камень, словно косуля.

Шоферы замолкают, когда Жора подгоняет свой бульдозер. Перед тем как начать работать, он снимает пиджак и осторожно кладет его на

граву, у обочины. Жора врезается на бульдозере в завал и начинает вертеться среди огромных глыб, как танк. Скрип, скрежет, грохот. Жора морщит лоб, брови, смешно двигает своим маленьким, курносым носом и лихо орудует рычагами машины. Бульдозер отходит назад, почти вплотную к обрыву, а потом устремляется вперед с грохотом и ревом.

Наконец путь готов. Жора отводит бульдозер в сторону, надевает пиджак, чистит брюки травой и бежит наверх.

— В гараж бы загнал махину свою! — кричит вдогонку бригадир.

— Я завтра с утра, постоит, — отвечает Жора, не оборачиваясь. Он бежит по дороге с твердым намерением сегодня же все сказать Лизе...

— Бульдозер! — кричат далеко внизу. — Бульдозер сюда давай!

«Чтоб вас там всех позавалило!» — думает Жора и поворачивает обратно.

«ГАЗ» засел по самые рессоры.

— Зачем семь тонн вместо трех везешь? — сердито спрашивает Жора. — Деньги зашибаешь, а машину гробишь? Грунт, ведь сам знаешь, зыбучий...

— Три куба везу, три куба, не говори клеветы, — скалит зубы шофер Апранетьянц, — только тащи осторожно, а то запремлю.

Бульдозер дрожит, как малярийный больной, и вытаскивает машину. Жора снова надевает пид-

жак и, вскочив на подножку трехтонки, едет на верх.

— Бульдозер! — снова кричат внизу. — Давай сюда!

— Слушай, Жора, не слушай их, — советует Айрапетьянц, — сами вылезут.

Жора соскакивает с подножки, что-то шепчет себе под нос и бежит вниз. Там увязла полуторка. Шофер Баскаков, желчный парень, огрызается, когда Жора начинает ворчать.

— Ты не шипи, Серегин, — говорит он. — Сделал бы дорогу как следует, тогда бы и танцевал.

— Помолчи, — не соглашается с ним Жора, не трепли языком.

— На то он и язык. А ты тяни.

— Я те потяну! — обещает Жора и снимает пиджак.

Баскаков садится за руль, и Жора вытаскивает его машину.

В клубе танцуют. Запыхавшийся Жора ищет Лизу. Он подходит к прорабу. Тот стоит один около шахматного столика.

— Вы Лизу не видели? — спрашивает Жора растерянно.

— Нет, — отвечает прораб, — не видел. — И, вздохнув, передвигает белую королеву через все поле.

— Ее Федька-взрывник никак пошел провожать, — говорит официантка Людочка и проходит мимо, задевая своим худеньким, острым плечом огромную руку Жоры.

Серегин хмурится и отстегивает от лацкана цветы. Потом развязывает галстук, намокший во время работы, прячет его в карман и уходит.

Далеко внизу урчит бульдозер. Это Жора заново расчищает дорогу. Фары его огромной машины выхватывают из темноты ночи быстрые видения тайги. Когда бульдозер на секунду замолкает, слышно, как где-то, совсем рядом, трещат соловьи. Ручей еще бормочет, но уже совсем тихо. Жорин бульдозер вертится, словно танк, и под ним скрипят, крошатся и стонут камни. В сопках шумит ветер.

«Завтра с собой Ваньку на целый день возьму, — думает Жора и улыбается, — а потом вместе в город поедем...»

Прораб идет по поселку, который был построен за три месяца в глухой тайге. Домики светятся огнями. В палисадниках сидят парочки. Кто-то перебирает струны гитары и поет:

Сядь со мною рядом,
Рассказать мне надо,
Не скрывая, не тая,
Что я люблю тебя...

Прораб идет на телеграф и заполняет бланк телеграммы: «Новокузнецк, Красноармейская, 67. Светлане Громовой. Приезжай, потому что я люблю тебя».

*

У СИНИХ ЛЬДОВ СИТМАЙЕНА

ШТОРМ ВОСЕМЬ БАЛЛОВ

Капитан Дмитрий Лыгин одевался подчеркнуто тщательно. На нем всегда был свежеотутюженный костюм; жилет тоном чуть светлее пиджака, туго накрахмаленная рубаха и галстук с синими драконами. Правда, капитан почти никогда не надевал ботинок. Он предпочитал стоптанные домашние тапочки. На рыбаков, впервые выходивших в Атлантику, один вид этих уютных шлепанцев действовал успокаивающе в любой шторм и туман,

когда ежеминутно мерещится катастрофа, когда волна кладет траулер набок так же легко, как мать младенца.

Но сегодня, в канун Первомая, Лыгин снял шлепанцы и надел лакированные штиблеты, узконосые и старомодные, по выражению матроса Чернявского — «образца 1856 года».

Рыбак Гулия, внимательно следивший за модой, внес ясность, возразив Чернявскому:

— Э, не знаешь предмета, а говоришь! Теперь узкий нос самый модный.

— А широкий, да еще с горбинкой! — съязвил салогрей Дынник, — такие носы пользуются спросом в обувной промышленности?

Капитан Лыгин начал доклад в 19.05.

— Достаточно ли хорошо мы проводим рейс? — спросил капитан. — Нет, пожалуй. Почему?

Капитан откашлялся, собираясь подробно объяснить почему, но в эту минуту к нему подошла радистка Женя. Девушка осторожно тронула капитана за рукав. Он недовольно оглянулся. Женя поднялась на носки и что-то быстро ему шепнула. Лыгин выслушал ее и сказал:

— Товарищи, объявляется перерыв на пять минут.

Когда капитан вышел, рыбаки переглянулись. Траулер раскачивало, словно скорлупку. В разбушевавшемся, пенном океане он был ничтожен, отчаянно одинок и маломощен со своим двухтысячесильным двигателем, салоном, рефрижераторной

установкой и трюмами, набитыми окунем, взятым на Ньюфаундлендской банке.

— Старшего помощника, доктора и парторга прошу подняться на мостик, — пророкотал низкий капитанский бас в репродукторе, установленном в кубрике.

— Что, тонем? — поинтересовался пекарь Вениамин, высунувшись из камбуза. — А жаль. Я кренделей все ж таки напек.

— Поди ты со своими кренделями! — оборвал его Дынник.

— Ты не матрос Кошка, — засмеялся Гулия.

— Ты даже не капитан Немо, — сказал Чернявский.

— Правильно, — самокритично согласился Дынник и прислушался.

Прислушались и все остальные: двигатель, перед тем работавший на малых оборотах, потому что траулер штормовался «носом на волну», сейчас заработал на полную мощность.

Ровно десять минут тому назад Женя включила приемник, поправила перед зеркальцем прическу, надела наушники и приготовилась слушать «минуту молчания». Дважды в течение каждого часа радисты всех кораблей мира прекращают работу. В эти минуты они обязаны принимать сигналы бедствия — SOS. Женя никогда еще не слышала этого страшного сигнала. И сейчас, самую малость подкрасив губы, она думала о Лыгине, о старпоме Игнатьиче, который объяснился ей в люб-

ви на берегу, а теперь был подчеркнуто сух и официален, — словом, Женя думала обо всем, только не о сигналах бедствия. И вдруг резкие, писклявые точки и тире сложились в три буквы: SOS!

— SOS! SOS! SOS!

Маленькая шхуна норвежцев потеряла управление, волны развернули ее лагом, ежеминутно грозя опрокинуть.

Только траулер принял сигналы бедствия, потому что здесь, в самом северном квадрате Атлантики, в это время года никто из рыбаков не промышлял, опасаясь штормов, которые начинались где-то поблизости, у ледяных гренландских берегов.

Лыгин послушал сигналы и отдал приказ идти на помощь, невзирая на шторм, переходивший в ураган.

Траулер то поднимался на гребень пятиметровой волны, то стремительно падал вниз, разбивая стальным носом тугую мощь темной воды. Брызги вздымались белой стеной и обрушивались на рубку с такой силой, что казалось — и не вода это вовсе, а сталь, бетон или чугун, настолько тяжелы были удары, сотрясавшие судно.

В те минуты, когда смотровые окна рубки заливало водой и они делались слюдяными, капитан весь напрягался, ожидая следующего удара. Самое неприятное в таком жестоком шторме — чередующиеся носовые и бортовые волны. Против носовой есть верное средство — резать ее корпусом. Бортовая волна может опрокинуть судно: машина и люди в этом случае бессильны.

— Включить прожекторы! — приказал капитан и пошел к себе в каюту переобуваться.

Капитан только успел снять свои лаковые туфли, как в каюту заглянул хмурый Игнатьич и доложил:

— Две ракеты слева по курсу!

— Сейчас, — ответил Лыгин, — одну минуту, дружище.

В шкафу жалобно звенели стаканы. Кресло, не пристегнутое штормовым крючком к полу, шарахалось из одного конца каюты в другой. В иллюминатор стучались волны. Барометр, укрепленный над письменным столом, по-прежнему падал.

— Хватит, колдун, — сказал капитан, постучав по стеклу тонким пальцем, — очень я тебя прошу, хватит падать...

В рубке, приникнув к смотровым стеклам, стояли старпом Игнатьич, румяный доктор Швабрин, второй штурман Лева и парторг Дымба, судовой токарь.

Игнатьич, как всегда, хмурился и приказания отдавал сердитым, простуженным голосом.

— Ну куда? Куда?! — кричал он штурвальному. — Сто семьдесят градусов держать, сто семьдесят.

— Есть сто семьдесят.

— А ч-что, если сто шестьдесят восемь, Игнатьич? — как всегда заикаясь, спросил доктор, ходивший в рейс всего второй раз. — Эт-то плохо, д-да?

— Нет, хорошо, — ответил старпом.

— Я ин-тересуюсь м-морским делом, — поспешил объяснить Швабрин, — и-не поймите меня н-неправильно.

Парторг Дымба нахмурился, чтобы не рассмеяться. Штурман Лева не выдержал и расхохотался в голос.

Вошел капитан.

— Где ракеты?

— Были подряд два слева по курсу, — ответил старпом. — Сейчас не видно.

— Налево повернуть трудно, а? Как думаете, Игнатьич?

— Очень трудно.

— А как думает партия?

Дымба ответил:

— Поверим.

Капитан откашлялся, еще шире расставил длинные, костлявые ноги и приказал:

— Ложиться на левый галс!

— Есть на левый галс! — ответил штурвальный.

Он только слегка изменил курс, но волны словно того и дожидались. Они начали бить корабль в «скулу». Растерявшись, штурвальный заложил поворот еще круче, волна шарахнула траулер в борт, и доктор Швабрин, не удержавшись, грохнулся на пол.

— Прожекторы... — негромко сказал капитан. — Почему не включены прожекторы?

— Врубить свет! — крикнул Игнатьич.

Мелкие брызги гасили свет прожекторов. Начался дождь, косой, частый, в ночи казавшийся

темно-серым. Состоял он не из отдельных капель, а из сплошных струек без начала и без конца. Было непонятно, где возник этот дождь: то ли в бушующем океане, то ли в низком, взлохмаченном небе. То ли эти дождевые нити хотели пришить небо к океану, слить их в одно целое, пенное, могучее и беспощадное.

В перерыве между двумя кренами капитан успел подскочить к двери на палубу. Выждав, выглянул наружу. Лицо его сразу же сделалось соленым, как от слез. Траулер снова положило на борт, и Лыгин с трудом удержал дверь, упершись в стену. Крен был таким долгим, что заныли колени, прижатые к холодному ребристому металлу.

— Может, я выйду на палубу? — спросил Дымба. — Оттуда виднее.

Лыгин покачал головой.

— Смоет. Опасно, дружище.

— Иначе-то не увидим.

— Было бы что видеть.

— Н-неужели поздно? — спросил Швабрин.

— Слушайте, доктор, — взъелся Игнатьич, — что вы тарахтите, как окунь?! Помолчите!

— Я м-молчу, — ответил Швабрин, — а если инт-тересуюсь, так д-для...

— Справа по курсу! — крикнул штурман Лева.

Все повернулись вправо. Совсем неподалеку в небе повисла ракета — тусклый красный фонарь.

— А теперь правый галс, Коля!

Траулер завалило вправо, потом так же резко влево, а потом волна накрыла его целиком. Все в судне задрожало и зазвенело.

— С-сервизы п-п-побило, — сказал Швабрин.

— Хватит заикаться! — загремел Игнатьич. — К черту!

— Я, м-между прочим, н-не заикаюсь, — обиделся Швабрин.

— Матросам палубной команды надеть пояса и быть готовыми к вызову! — сказал капитан в микрофон и повторил: — Пояса надеть обязательно!..

Шлюпка, спущенная с норвежской шхуны в самый последний миг, чудом держалась на воде.

Волны выделывали с ней все, что хотели, разве только не переворачивали. Шхуна с переломанными мачтами с каждой минутой все больше и больше погружалась в воду. Шлюпка ходила кругами вокруг тонущей шхуны.

— Варяги, — сказал капитан, выскочив вместе с Дымбой на палубу.

— Молодцы ребята, — согласился Дымба, — гордо дерутся!

А те, в шлюпке, действительно дрались. Они успевали поставить шлюпку носом на волну как раз в тот миг, когда, казалось, все уже было кончено. Они подпускали волну совсем близко и, поднимаясь на гребень, разворачивались встречь пенным брызгам. Шлюпка исчезала, и все на траулере замирали, вглядываясь в жухлую темноту ночи.

— Ай, какие молодцы! — снова повторил Дымба.

Траулер медленно подходил к шлюпке.

— Только б в наш борт не грохнулись, — сказал капитан, — тогда финита.

— Не должны.

— Пошли людей готовить, — сказал капитан.

Он оторвался от поручней и шагнул к двери. Но в ту минуту волна, поначалу казавшаяся небольшой, пологой, вдруг выросла, сделалась похожей на огромный лист стекла и ударила траулер в скулу. Поднялась белая пена, еще большая, чем сама волна, медленно загнула седой гребень над мостиком, с грохотом ухнула на палубу, подхватила капитана и, закружив, понесла за борт. Лыгин, неловко растопырив руки, повис в воздухе, разрывая рот в злом крике. Когда до поручней оставалось несколько сантиметров, волна бросила Лыгина на палубу и, шипя, уползла за борт.

Дымба, тоже мокрый с головы до пят, подполз к Лыгину, схватил его за ноги и потащил в рубку. Он успел впихнуть капитана в дверь и упал на него сам, потому что по палубе прошлась новая волна, еще более свирепая, чем прежняя.

Лыгина подняли. У него был рассечен лоб. Рана над бровью, обмытая горькой водой, сильно кровоточила.

На мостик прибежала Женя. Она схватила старпома за локоть и спросила шепотом:

— Что с ним?

Старпом освободил руку и ответил:

— Все в порядке.

Отвернувшись, он подошел к смотровому стеклу и врос в пол. Он на разу не обернулся, потому что не мог видеть, как Женя держала капитана за голову, пока Швабрин готовил бинт.

— Дмитрий Федорович! — позвала девушка.

— Что, товарищ связь? — отозвался Лыгин.

— Вам больно? Плохо?

— Наоборот. Очень хорошо. Лучше не придумаешь... Ступайте, Женя, работайте, — сказал капитан, — ступайте...

Женя растерянно посмотрела на капитана, на штурмана Леву, на Швабрина, который ловко накладывал повязку, и медленно поднялась с колен. Лыгин взглянул на девушку и сразу же опустил глаза. Женя повернулась и пошла к себе. Доктор кончил перевязку и сказал:

— В-все...

Капитан попросил штурмана:

— Левушка, помогите мне.

Лева взял его за руку. Капитан встал, подошел к Игнатьичу, по-прежнему стоявшему у окна, и сказал:

— Не подражайте Отелло, дружок мой. Не надо думать о людях хуже, чем они есть на самом деле.

Старпом ничего не ответил. Капитан еще раз посмотрел на него, поправил мокрый галстук, затянувшийся тугим узлом, и отправился к себе в каюту переодеваться. Проходя мимо рубки, он увидел Женю. Девушка сидела около стола и смотрела в книгу, лежавшую у нее на коленях.

— Товарищ связь! — позвал Лыгин.

Девушка ответила:

— Я слушаю вас, капитан.

— Все в порядке, — сказал Лыгин, — мне здорово повезло.

— Хорошо.

А было скверно...

— Да...

— Вы сердитесь?

— Я не сержусь, нет...

— Пожалуйста, не сердитесь, Женя.

— Я не сержусь, — повторила девушка, не отрываясь от книги.

Капитан постоял на пороге, потом осторожно прикрыл дверь и вернулся на мостик.

Гулия, Дымба и Чернявский стояли на палубе. Одной рукой Гулия держался за леера, а другой обхватил Дымбу за пояс. Дымба обеими руками держал Чернявского, а тот уже в пятый раз безуспешно бросал конец в шлюпку норвежцев. Траулер развернулся лагом, принял на себя всю силу волн и прикрыл шлюпку.

Чернявский вспотел. Капли пота, смешавшись с морскими брызгами, нестерпимо рвали кожу, стягивая ее к вискам. Он то и дело проводил пальцами по лбу и вытирал их о мокрый соленый ватник. Сейчас, когда волна еще только зарождалась, Чернявский стиснул зубы, весь подался вперед, прищурив глаза, прицелился, но снова уже в шестой раз, промахнулся.

— Э, слушай! Дай я! — закричал Гулия.

— Заткнись, — ответил Чернявский, — не вопи под руку!

— Спокойней, хлопцы, — сказал Дымба, — спокойней. А ну, Вадим, давай еще раз.

— А промахнусь?

— Не промахнешься.

Чернявский отвел руку далеко назад, весь напружинился, застонал. Подался вперед и что есть силы швырнул конец.

— А-а-а! — захрипел он. — Поймали!

Норвежцы, в такт движениям откидываясь всем корпусом назад, подтягивали шлюпку к траулеру.

— Волна! — заорал Дымба и показал рукой на огромную лавину, подходившую сзади.

Норвежцы поняли его. Бросились к рулю и успели развернуть шлюпку носом к волне. Их подняло и принесло почти с самому траулеру. И пока следующая волна еще только рождалась, рыбаки, высыпавшие на палубу, по-кошачьи ловко закинули в шлюпку сразу штук пятнадцать канатов. Волна шла к траулеру, поднимаясь все выше и выше. Сейчас все дело решали считанные секунды. Норвежцы уцепились за канаты, и рыбаки, сдирая кожу ладоней в кровь, начали затаскивать их на палубу. Не успеют затащить — разобьет норвежцев волна. Шарахнет о стальной борт — и все.

И когда последний норвежец, медлительный, неуклюжий парень с рыжей бородой на кадыке, оказался на траулере, волна подкатила к пустой шлюпке, подняла ее, оттащила назад, подержала секунду на гребне, а потом швырнула вперед и разбила в щепы о стальной борт. Океан, словно удовлетворившись этим, стал спокойней и тише.

— Нептун получил подарок, — резюмировал Гулия, — жадный старик. Сейчас успокоится.

— Ты что, барометр? — поинтересовался Чернявский.

— Гулия я, а не барометр.

— То-то и оно.

— Вот именно, — согласился Гулия и подтолкнул Чернявского в бок. — Пойдем, друг. Венька кренделей напек, норвежцев угощать будем.

Капитан вошел в кубрик в 21.17. Он был в другом костюме, отутюженном столь же тщательно, в жилете, цветом чуть потемнее пиджака, и в галстуке с красными драконами. На ногах у него были изящные лакированные туфли «образца 1856 года». Он откашлялся, провел пальцами по лбу, заклеенному пластырем, пригладил виски с яркой проседью и сказал:

— Товарищи, торжественное заседание, посвященное празднику трудящихся всего мира, разрешите считать продолженным...

Рыбаки и норвежцы, раскрасневшиеся от докторского спирта, сидели бок о бок, тесно прижавшись друг к другу.

— Итак, — продолжал Лыгин, — все ли в нашем рейсе проходит так хорошо, как должно было бы проходить? Нет, пожалуй...

ДВА МУШКЕТЕРА

Эхолот засек рыбу. Старпом Игнатьич смотрел на зеленые линии, появлявшиеся на маленьком экране, и грыз ногти. После двух недель поиска это был первый косяк.

Капитан на мостик не вышел. Он сидел в своем салоне и разыгрывал ферзевый гамбит Решевского. Доктор Швабрин лежал с ангиной, а Лыгин ни с кем, кроме него, в шахматы не играл.

Игнатьич заглянул к Лыгину и спросил:

— Капитан, бросим буй?

— Бросим, — задумчиво ответил Лыгин, не отрываясь от шахматной доски.

— Трал готовить?

Лыгин удивленно поднял брови и внимательно посмотрел на старпома. Достал пачку «Беломора», открыл ее мизинцем, согрел зажигалку в сухой ладони и прикурил.

— Что, разве наш поиск уже кончился? — спросил Лыгин.

— Вы хотите уйти от рыбы? — Игнатьич наморщил лоб. — Капитан, люди будут недовольны.

— Мы идем к рыбе, — ответил Лыгин, — это ведь интереснейший случай.

— Почему вы думаете, что рыба стоит еще севернее?

— Поищем. Ведь мы разведка, а не промысел. Если мы вычерпаем этот косяк, что скажут те, кто идет следом? Вы уже дали наши координаты остальным судам флотилии?

— Нет.

— Радируйте.

— Капитан, — снова повторил Игнатьич, — люди будут недовольны.

Лыгин улыбнулся.

— До сих пор, — сказал он, — на английских судах у капитанов есть кандалы для бунтовщиков.

Вас бы следовало заковать в кандалы и бросить в карцер. Ясно?

— Ясно.

— Ложитесь на норд-норд-вест, и по курсу сто семнадцать полный вперед.

— Он хочет славы, — сказал Игнатьич штурману Леве, стоявшему около штурвала. — Только запомните, Лева: в сорок лет поздно искать славы.

Из радиорубки выглянула Женя.

— Так же, как и любви, — посмотрев на нее, добавил Игнатьич.

Девушка почувствовала, как у нее покраснели уши. Старпом усмехнулся уголками прямого рта и сказал в переговорную трубку:

— Полный вперед!

Океан лежал мертвый, как осенние сумерки. Над кораблем с писком метались глупыши. С севера несло холодом: там начинались льды.

Ночью упал туман. Даже мачта не была видна с мостика. Поэтому казалось, что плыл не корабль, а какой-то обрубок с тупым, квадратным носом.

Еще с вечера стали попадаться «щенки» — маленькие осколки айсбергов. Заступив на вахту, капитан приказал включить локатор. Экран остался темным: локатор не сработал. Плыть у берегов Гренландии туманной ночью без локатора — дело весьма рискованное. Поэтому Лыгин спустился в кубрик и забил подряд три партии «козла».

Корабль шел самым малым. Рыбаки стояли за спиной Лыгина и завистливо следили за его хитрой игрой. Потом капитан, осторожно потрогав галстук, рассказал два анекдота. Рыбаки корректно посмеялись. Лыгин прищурился и спросил:

— Что, косяк жалеем?

— Есть малость, — ответил Чернявский, — материальная заинтересованность страдает.

— Ерунда, — сказал Лыгин, — мы идем по косяку. Эхолот все время пишет рыбу. Очертим весь район, тогда и станем на промысел.

— А там уже черпают? — осторожно спросил Гулия. — Там, откуда мы ушли?

— Черпают, — жестко усмехнувшись, сказал капитан. — «Витязь» был на подходе.

— «Витязь» черпает, — отвернувшись, негромко буркнул Чернявский, — а мы пилим.

Капитан сделал вид, что не расслышал. Поднялся и пошел в радиорубку.

— Вызовите «Витязя», — попросил он радистку Женю.

Девушка настроилась на волну «Витязя» через пять минут. Склонившись над Женей, капитан разбирал то, что она быстро записывала. От девушки шел какой-то неуловимый запах: как от ребенка, только что выкупанного в хвойной ванне и вытертого теплым, пушистым полотенцем. Лыгин отстранился от Жени и сильно сжал спинку ее стула.

«Спасибо за косяк», — передавал капитан «Витязя» Аугуст Струминьш, прозванный «Порто-

сом», — рыбка есть. Без вас бы пропали: нигде не могли найти. Готовим трал, начинаем промысел. Еще раз весьма благодарю. Счастливого поиска. Перехожу на прием».

Лыгин начал диктовать ответ, притопывая левой ногой, хмурясь.

— Рыбы много, — диктовал он, — идем границами косяка. Отказал локатор. Льдин пока нет. Счастливого промысла.

Женя быстро отстучала радиограмму и посмотрела на Лыгина. Капитан улыбнулся ей, и вокруг глаз у него собралось много мелких морщинок.

— Если мы сумеем пройти еще двадцать миль, — сказал Лыгин, — и косяк не исчезнет, тогда наш корабль сделает огромной важности открытие. А рыбаки на меня сердятся.

— Так надо им объяснить...

— Рано.

— Почему?

— Рано, — повторил Лыгин. — Не надо заряжать ружья, если в берлоге нет медведя.

Женя вдруг улыбнулась и спросила:

— Дмитрий Федорович, а почему Струминьша называют «Портосом»?

— Потому что он носит белые перчатки, — пошутил капитан.

— А вас? Вас ведь тоже называют мушкетером?

— А меня, потому что я не ношу белых перчаток.

Девушка подняла голову и посмотрела в глаза

Лыгина. Капитан медленно подошел к ней, а потом, словно испугавшись чего-то, шагнул к двери, рывком распахнул ее и вышел.

Удар был не сильным. Капитан выскочил на палубу. Прямо под ним, противно царапая борт, прошла льдина. Она крошилась, скрипела, как плохо смазанная дверь, и сдирала краску.

На палубу прибежали сонный Игнатьич и Лева, отдыхавший после вахты.

— Пробила? — сердито спросил Игнатьич.

— Да что вы, — улыбнулся Лыгин, — просто чуточку подшлифовало.

Туман кончился так же внезапно, как и начался. В небе развесило свой холодный занавес северное сияние. Корабль, чуть покачиваясь на мертвой зыби, шел прямо на белый айсберг.

Игнатьич подбежал к штурвалу и рванул рычаг управления на «стоп». Траулер качнуло. Синюю воду тронули вкрадчивые волны. На пологих гребнях заплескались звезды.

Капитан обернулся, поправив туго накрахмаленный воротник: позади корабля висела тяжелая стена тумана. Вокруг торчали льды. Впереди снова начинался туман, плотный, как пуховое одеяло.

Лыгин посмотрел штурманскую карту, улыбнулся и сказал:

— Вот мы и сделали открытие: в этих водах никогда и никто не находил косяков. Мы сейчас у берега Гренландии.

— Мы сейчас в мышеловке, — усмехнулся Игнатьич.

Лева растерянно посмотрел на капитана.

— Ну, почему же в мышеловке? — поморщился Лыгин. — Зачем столько патетики?

— Это не патетика. — ответил Игнатьич, — это факт. Самим нам не выбраться. Надо просить помощи.

— Не надо. — сказал капитан.

Игнатьич удивленно посмотрел на него.

— Не надо, — весело повторил Лыгин, — скоро сюда придет «Витязь».

— Почему он должен прийти? — возразил старпом. — Он стоит на нашем косяке. Он промышляет. Он зарабатывает хорошие деньги.

— Игнатьич, — задумчиво сказал капитан, — не надо думать о людях плохо, послушайте меня, я говорю правду...

— Разрешите идти досыпать? — хмуро спросил Игнатьич.

— Пожалуйста. — ответил Лыгин и сел на маленький раскладной стульчик около эхолота.

По пути в каюту Игнатьич заглянул в радиорубку и спросил:

— Мы не просили помощи у «Витязя»?

— Нет, — ответила Женя, — не просили.

Через три часа, вспоров одеяло тумана, к траулеру подошел «Витязь».

— Старина мушкетная! — закричал в радиотелефон Струминьщ.

— Эгей! — ответил Лыгин.

— Как твой локатор? Спускай шлюпку, я акустика пришлю!

— Спасибо, Портос! — ответил Лыгин. — А твой промысел?

— Ничего, подождет.

— Спасибо, — еще раз повторил Лыгин и выключил трансляционный шнур. Весь его разговор слышала команда. Лыгин спустился в кубрик. Там шумели рыбаки. Игнатьич из своей каюты не вышел. Лева влюбленно смотрел на капитана. Лыгин вернулся в радиорубку. Женя увидела веселые, юные огоньки в его глазах, одетых сетью мелких морщинок.

МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС

«...В книге мудрого пророка Даниила записана легенда. Рассказывается в ней о том, как пировал царь Валтасар. На столах стояли блюда с птицей, вываренной в пузырях быков. Рыба стыла во льду и смотрела на людей глазами мертвых воинов. Пряности лежали на глиняных блюдах, сделанных нарочито грубо. Валтасар любил контрасты: это возбуждало в нем желание. И вот в самый разгар пиршества он увидал руку на стене. Рука была жилистая, с синими узелками набухших вен. Желтый, скрюченный ноготь указательного пальца вывел на стене слова: «Мене, текел, фарес».

— Позовите мудреца, — сказал удивленный

царь, — пусть он растолкует мне, что это за чертовщина.

Пришел Даниил, выпил кубок молодого кислого вина, съел немного куриного паштета, тертого с грецкими орехами, и сказал так:

— Ночью ты погибнешь, царь. «Мене, текел, фарес», — эти слова учат тебя благоразумию. А высшая форма благоразумия — предосторожность.

Валтасар рассмеялся и сказал:

— Ерунда.

Так сказал царь, но в глубине души поверил предостережению, решил быть благоразумным и от этого погиб...

Так и я. Я тоже гибну, Женя, маленькая моя. Потому что, подобно Валтасару, все-таки решил быть благоразумным. Итальянец Пьетро Бембо утверждал, что любовь побеждается только одним: бегством. Это неверис, совсем неверно. Ничем нельзя победить любовь. Когда ты списалась с траулера и ушла со Струминьшем в Мурманск, я подумал: «А ведь ты самый настоящий дуралей, Лыгин. Поделом тебе. И все правильно, что ты не можешь найти себе места. Ведь ты испугался! Да, твое благоразумие было благоразумием труса. Но если ты испугался, так чего же? Того, что скажут люди. Если испугался за себя, значит, стал старым просто-напросто. А если за нее, Женю? Если я испугался за тебя, малыш, тогда что? Наверное, мне надо было тебя спросить об этом, а? Ну, а я не смог.

Вот я ловлю рыбу, играю в шахматы, ем уху,

а ночью стою около штурвального, смотрю в тоскливую мглу ночи и думаю о тебе. Вчера я зашел в радиорубку и сказал:

— Женя...

Наш новый радист, присланный вместо тебя, откашлялся и сказал басом:

— Я не Женя. Я — Игорь.

У меня вошло в привычку писать тебе каждый день по письму. Хоть и прекрасно знаю, что в заливе Джеффа нет почтовых ящиков, — а пишу, неустанно, утром, днем, вечером и даже ночью. А сейчас решил загадать. Знаешь, ведь я верю в приметы и в то, что загаданное всегда исполняется. Это точно, совершенно точно. Вот я и решил загадать: если ты эти строчки прочтешь когда-нибудь — быть счастью. А не будет счастья — Валтасар виноват, значит. Или мы оба, за компанию...»

Женя отложила письмо и выключила лампу. По белому потолку комнаты шарили голубые лучи автомобильных фар. В наступившей темноте лицо Лыгина, спавшего на узенькой раскладушке около окна, показалось Жене таким же голубым, как и свет фар. Она подошла к нему, опустилась на колени и, прижавшись к его голове, заплакала.

— Что ты? — спросил Лыгин. — Что ты, маленькая?

— Ничего, — ответила Женя. — Просто я счастлива. Я дождалась тебя. И ну его к черту, этого Валтасара!

ЗАРИСОВКИ, СДЕЛАННЫЕ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

СИНИЕ ЦВЕТЫ АГЕ

1

Нарсун сказал:
— Я вернусь завтра вечером, Маша.
— Поздно?
— Нет, не поздно.
— А когда?
— Я же сказал — не поздно.

Маша посмотрела на север, туда, откуда дул ветер. Над хребтом Усулге полыхало осеннее предзакатное небо. Синие горы с каждой минутой все больше и больше растворялись в вечернем холодном мареве. Закаты над Усулге всегда одинаковы. Они кажутся огненно-жаркими и в душный июль и в хрясткий, студеный октябрь.

— Хорошо, — вздохнула Маша, — я буду ждать тебя. Только я не верю.

— А я верю, — сердито ответил Нарсун, — я всегда верю в то, что делаю.

— Да, — согласилась Маша, — ты всегда веришь.

Нарсун отошел от калитки, отвязал коня, легко вскочил в седло и помчался по дороге.

Закат над Усулге отгорел и затух. Горы растворились в синих сумерках. Теперь казалось, что не горы вокруг, а гулкая черная равнина без конца и без края.

Маша долго стояла у калитки, вслушиваясь во все затихавший звон копыт. А потом пошла домой, взяла с этажерки книгу рассказов Чехова и села к столу. Ей стало грустно, и она совсем не думала о том, что читала.

Поздно вечером к ней пришли Катя, Нархэ и Лида.

— Пойдем в клуб, — сказала Лида, — там будет кино про любовь.

— Я не пойду в кино. — ответила Маша тихо.

— А потом будут танцы под радиолу.

— Я не хочу танцевать, — еще тише ответила Маша.

Лида сняла с головы платок, и рыжие волосы упали на ее загорелые плечи.

— Все бурятки ждут женихов, — сказала Лида, зажав в губах шпильки, — а я полагаю: нечего их дожидаться. Танцевать надо и кино смотреть.

Нархэ промолчала. А русская девушка Катя сказала:

— Это очень хорошо, что Маша ждет Нарсуна.

— А может, ее Нарсун сейчас бешеной собаке сено косит? — хохотнула Лида и, охорашиваясь перед зеркалом, вытащила из рукава платья платочек.

— Злая ты, Лидка, — сказала Катя.

— Нет, — заступилась Нархэ, — она не злая, она телят целует.

Девушки ушли, и Маша снова осталась одна. Она сидела около стола и читала томик чеховских рассказов. В небе уже зажглись звезды, и от этого стало не так темно. Где-то на краю деревни пели песню. Маше стало совсем грустно, и она тоже запела тихонько о том, как весной в заводи горных рек приходят таймени.

2

Нарсун вернулся только через три дня. Он похудел еще больше, глаза ввалились и от этого стали казаться не черными, а синими, переливными.

— Маша, — сказал Нарсун, остановившись на пороге, — здравствуй, Маша.

— Здравствуй, — ответила девушка.

— Я нашел.

Маша не удивилась и не обрадовалась.

Нарсун надел кепку.

— Подожди! — испугалась Маша и, вскочив со стула, бросилась к нему.

Нарсун обнял девушку, и они пошли в сельсовет по широкой деревенской улице, среди петушиных горластых перекличек, ребячьих игр и старушечьих перешептываний.

В сельсовете председатель достал из ящика, обитого кованым железом, две книги и записал, что Маша Цындыпова с сегодняшнего дня стала Машей Санжеевой, женой Нарсуна.

Болтливость — следствие самого хорошего настроения.

— Теперь я побью все рекорды, — сказал Нарсун утром, — я нашел то пастбище, о котором пел в своих песнях поэт Батужаб. Мы завтра погоним туда отару.

— Завтра в клубе кино, — осторожно заметила Маша, ставя на поднос большое блюдце со сливками.

— Да? — удивился Нарсун. — Ну и что же?

— Кино про любовь.

— Завтра мы уйдем рано утром, — повторил Нарсун и вытер губы ладонью. — Сегодня будем связывать вьюки.

Сказав так, Нарсун отправился в правление колхоза. Нарсун считал споры о кинофильме излишними. Он предпочитал любовь земную любви кинематографической.

8

В правлении Нарсун сказал:

— Я ухожу с отарой на новое пастбище. Помните, о нем писал поэт Батужаб?

— Помню, — ответил председатель. — А вот помнишь ли ты, чья там земля?

Нарсун удивился и ответил:

— Моя. А чья же еще?

— Ты не учил политэкономии, — засмеялся председатель и положил за щеку мятную конфету. — Может быть, ты правильно делал, что не учил политэкономию. Ладно, сынок. Иди на пастбище, о котором говорил поэт Батужаб. Только знай, что та земля и те пастбища, поросшие цветами аге, не наши.

Нарсун замер.

— Ничего, — продолжал председатель, — туда не так-то просто добраться. И потом падь, о которой ты говоришь, до последнего дня пустовала у них, она никем не была освоена.

Председатель выплюнул мятную конфету и, вытащив из ящика стола кисет, принялся вертеть самокрутку. Закурив, он посмотрел вслед Нарсуну, покачал головой и повторил:

— «Моя». Действительно, а чья же еще...

Нарсун был в том великолепном возрасте, когда предпочитают голодать, стынуть под дождем и блуждать в поисках, нежели повернуть назад.

Они с Машей гнали свою отару уже третий

день подряд, а до пастбища старого народного поэта Батужаба было далеко. Хотя, может быть, оно лежало где-нибудь рядом, спрятавшись за желто-бурыми, выгоревшими на солнце хребтами.

По утрам воздух был прозрачным, морозным, совсем без запахов. Он был подобен воде в горных ключах. Днем, когда корочка льда начинала блестеть на земле искристой капелью росы, в лощины приходил аромат трав. Пахло бутулом — мелкой ярко-зеленой травой, пахло терпким, стойким сахилзе — похожим на осоку верблюжьим лакомством, но ни ветер, ни дневное солнце не приносили запаха аге — невзрачных, пряно-полынных цветов.

Аге — драгоценный цветок. Летом овцы не притрагиваются к нему, а скатываются серым облаком к ручьям и рекам, к траве бутул. Летом аге горек неистовством солнечных лучей. Зато осенью цветы делаются сладкими. Зимой снег над аге синеет. Снег тает над аге, потому что в распластанных по склонам сопок цветах скрыто солнце.

В конце четвертого дня пути, под вечер, Нарсун обнял загрустившую Машу, поцеловал ее в губы, ощутив скользкий холодок зубов, и вдруг замер. Потом приподнялся в седле.

— Аге, — тихо сказал Нарсун и стал прерывисто, высоко запрокинув голову, смеяться.

Маша совсем не удивилась такой радости мужа: она тоже пасла баранов с отцом и верблюдов — с братом. Она знала, какое это счастье — первым отыскать на склонах сопок синие цветы солнца.

Перестав смеяться, Нарсун поднялся в стреме-

нах, принюхиваясь. Он быстро поворачивал голову во все стороны, пытаясь определить, с какой стороны шел запах цветов. Чем дымчатей становились горы и бесцветней небо, тем быстрее запахи аге улетучивались и делались такими же синими, как воздух, лучи солнца и отара.

Потом, повернувшись к юго-востоку, Нарсун склонился к гриве коня и дал шенкеля.

Маша засмеялась еще веселее и пустила своего коня следом за Нарсуном.

Собаки растерянно метались между отарой и всадниками. Над сопками повис дымный шар луны.

4

За те пять дней, что овцы паслись по склонам сопок, поросшим аге, вид их заметно изменился.

— Бараны будут очень жирными, — говорил Нарсун Маше и морщил нос, чтобы лицо не растягивалось счастливой улыбкой.

Маша своей радости не скрывала, и от этого на щеках у нее все время появлялись ямочки, а вокруг глаз — морщинки. Она могла себе позволить смеяться, потому что была моложе Нарсуна на полтора года: ей было восемнадцать.

Вечерами, усевшись вокруг маленькой железной печки, попивая зеленый чай с топленными сливками и сухой лепешкой, Нарсун читал Маше стихи. Чаще других он читал ей Симонова.

Названья ласковые, птичьи,
Не шли на ум нам. Вдалеке

Мы тосковали по-мужичьи
На грубом нашем языке...

Дальше Нарсун читать не решался. Продолжение казалось ему слишком откровенным. Как всякий молодой муж, он предпочитал откровенности недосказанность.

На шестой день, рано утром, Нарсун сказал Маше:

— Пожалуйста, скачи в колхоз и скажи, что я нашел пастбище старого поэта Батужаба. И скажи еще, что тут никого нет, а кормов хватит не на одну нашу, а на целых десять отар.

— Хорошо, — ответила Маша и стала повязывать цветастый платок.

Засупонив коня, она спросила:

— А когда возвращаться? Ночью?

— Нет, — улыбнулся Нарсун. — Не надо возвращаться ночью. Можешь вечером сходить в кино и посмотреть картину про любовь. А вернешься завтра утром.

Через час после того, как Маша уехала, начался шурган. Сухой снег вперемешку с песком метался по лощине, словно каратель. И среди этого бело-коричневого неистовства то и дело вздымались черные столбы смерчей.

Нарсун бросился к коню и без седла, зажав острыми коленями бока жеребца, поскакал за отарой, которая паслась на склоне сопки.

— Ва-эй! — кричал Нарсун, размахивая длинным арканом.

И среди гудения шургана высокий голос Нарсуна, срывавшийся порой на визг, был слышен

отаре. Овцы сбились в кучу, и Нарсуну в который раз уже показалось, что это и не отара вовсе, а горное озеро, пошедшее зыбью.

— Ва-эй! — снова закричал Нарсун, и отара — горное озеро — растеклась прибоем и понеслась вниз, в лощину, стремительная, словно шурган и крик чабана.

Загнав овец в кошару, Нарсун заседлал коня, потуже подпоясался зеленым широким поясом, свистнул собаку и понесся вслед за Машей.

Нарсун почти лежал на коне. Он то и дело зарывался лицом в пахучую гриву коня, чтобы смягчить боль ударов колючего песка и острого снега. Но ни великолепный лошадиный запах — теплый и спокойный, ни металлический запах шургана не могли победить запаха цветов аге. Легкие Нарсуна ощущали запах аге сильнее всех остальных. Это особенный запах, терпкий, солнечный, запоминающийся только чабанам и влюбленным.

Нарсун разыскал Машу через два часа. Она спала, спрятавшись между валунами. Нарсун поднял ее на руки и стал целовать лицо, мокрое от снега и колючее от песка...

5

— Идите отсюда прочь, — сказал Нарсуну и Маше незнакомый старик, когда они вернулись в свою юрту.

Нарсун и Маша переглянулись и ответили в один голос:

— Здравствуйте, папаша.

Маша сняла с головы платок и спросила:

— Вы, верно, устали? Сейчас я сделаю зеленый чай и бараньи бозы на пару. Или, может, сначала вы хотите отдохнуть?

— Я хочу, чтобы вы ушли отсюда прочь, — повторил старик, поднявшись с кошмы. — Я хочу, чтобы вы собрали свою юрту и угнали своих овец. Вот чего я хочу.

— Я не понимаю вас, — удивился Нарсун.

Старик набил трубку табаком, зажег спичку, затянулся и, пустив к потолку струйку ароматного дыма, спросил:

— Чья это земля?

— Моя, — ответил Нарсун и быстро поправился, — наша.

Старик поперхнулся дымом, прокашлялся и подтвердил:

— Правильно. Наша. Моих отар это земля, моего колхоза это земля.

— Но ведь здесь хватит места и вам и нам, — сказал Нарсун, — напрасно вы сердитесь.

— Ладно, — кашлянул старик, — если ты не хочешь уходить добром, завтра я уведу тебя силой.

И, не попрощавшись, старик ушел.

Но он не вернулся ни завтра, ни послезавтра. Нарсун, вспоминая старика, смеялся. Смеялась и Маша.

А старик все-таки пришел. Старик пришел через три дня, и не один, а с милиционером, прозванным в районе «Спящей красавицей». Он подвел «Спящую красавицу» к юрте Нарсуна и Маши,

а сам отошел в сторонку и, опустившись на корточки, принялся безучастно смотреть в небо.

Поздоровавшись, поговорив о делах в районе и о футбольном чемпионате, милиционер сказал, отвернувшись:

— Старик прав, Нарсун. Придется тебе отсюда откочевывать. Твоя земля во-он за теми сопками.

— Правильно, — согласился Нарсун, — там моя земля. Но и здесь тоже моя земля. Так сказано в этой, как ее. . . политэкономии.

Милиционер сердился, когда его уличали в незнании чего-либо.

— Послушай, — сказал он, — перестань, пожалуйста, нарушать закон.

Впервые в жизни Нарсун столкнулся с несправедливостью, которая подтверждалась законом. А это очень страшно: законная несправедливость. Растерявшись, Нарсун посмотрел на Машу, на долговязого милиционера и на старика, который попрежнему безучастно глядел в небо. Лицо Нарсуна сморщилось, а глаза стали блестящими. Честный мужчина может заплакать, когда он бессилен побороть зло или нелепость. Но для Маши это было неожиданным, потому что всякая женщина в первый год замужества считает своего избранного тем, кто сильнее и могущественнее всех на земле. Но Маша была не только женой. Маша была чабаном, и поэтому в ней заговорила ярость: обидели ее спутника, ее товарища по работе. И, обернувшись к старику, Маша закричала:

— У, беззубый черт! Вари себе из своего пастбища суп с хренками!

— С гренками, — поправил ее «Спящая красавица», и тоже сердито посмотрел на старика.

А Нарсун стоял по-прежнему с широко раскрытыми блестящими глазами и морщил лоб.

Он стоял так и вспоминал дивный шурган, холодные губы Маши и солнечный запах цветов аге. Когда трудно в жизни, всегда надо вспоминать самое хорошее. И Нарсун перестал морщить лоб и опускать голову на грудь. И глаза у него стали сухими.

— Знаешь, — сказал он милиционеру, — я не уйду отсюда. А если хочешь, возьми меня в тюрьму.

— Послушай, — крикнула «Спящая красавица» старику, — ведь об этом пастбище нам поэт Батужаб, что оно будет пастбищем солнца, пастбищем для всех. Неужели ты не можешь жить рядом с Нарсуном?

— Нет, — ответил старик. — Это моя земля. Моя, а не его. А ты — плохой милиционер, кричишь мало, ругаешься мало.

— Говорите, отец, говорите, только как бы у вас от злости не выросли на языке зубы, — сказал «Спящая красавица». — Никуда я Нарсуна выгонять отсюда не стану, а доложу вашему председателю. Он и решит.

— Жалобу писать буду! — закричал старик, поднявшись с корточек. — В район поеду, бумагу писать буду, что ты закон не знаешь!

— Я знаю закон, — сказал милиционер.

— Он уж знает закон! — крикнула Маша. — А ты вот не знаешь!

Старик зло сплюнул и пошел к своему коню.

И тогда Маша стала смеяться весело и задорно, так, как умеет смеяться только одна Маша. И Нарсун смотрел на нее, и милиционер смотрел на нее, и никто не смотрел вслед старику, который с каждой минутой делался все меньше и меньше, сливаясь с бурыми спинами сопок — древних, как и законы, которым он поклонялся.

Небо раскололось над горами красным пламенем. Высоко в желтом предвечернем мареве — раскаленно-холодном и далеком — стыли орлы. Воздух был недвижим. Воздух был пропитан насквозь стойкими запахами аге — цветов солнца.

РЕРИХ И ЗАБАЙКАЛЬЕ

Едешь по Забайкальским синим степям и поражаешься — в который раз уже — неизбывной мощи здешней природы. Крутолобые сопки, поросшие желтой, щетинистой травой; озера словно огромные листы синей жести; пади, в которых воздух всегда теплее и прянее, чем на сопках; далекое небо, изломанное яростью закатов солнца; крохотные фигурки всадников-чабанов; снежные комочки отар — все это кажется несколько условным и нереальным. С таким парадоксом я сталкивался впервые: окружающее меня будничное, степное пространство представлялось чем-то далеким, будто рисованным. Я долго припоминал, где видел подобное. Припоминал долго, но безуспешно. И лишь под вечер, возвращаясь в Акатуй из Нерчинского завода, лишь когда закат был особенно неистов,

красно-фиолетов, а балки солнечного золота особенно весомы и желты, я вспомнил: Рерих.

Живопись его вызвала в Москве много споров, кое-кто считал ее декоративной, условной. Здесь, в этот предзакатный час, неподалеку от Горного Зерентуя, я убедился: не условен Рерих, нет. Его картинам присуще движение. Закаты и восходы солнца в Забайкалье стремительны, созвучие красок меняется внезапно и неожиданно.

И здесь я понял, что красота природы, которую столь щедро пишет Рерих, во многом сильней и могущественней его кисти. После Забайкалья я могу засвидетельствовать: Рерих не выдумывал ничего в своей живописи, он пытался скрупулезно и точно передать в картинах то, что обычно и повседневно здесь, на Востоке. В одном только я не согласен с художником. Не согласен, и все тут.

Однажды, охотясь, я забрел в юрту к чабанам. Старик спал, уткнувшись лицом в подушку. Я видел его сильную морщинистую шею цвета раскаленной меди. Жена чабана — в очках, с сигаретой в зубах — сидела подле стола и читала «Правду». Она читала статью, в которой рассказывалось о том, как была сфотографирована невидимая доселе сторона Луны.

Я сидел и курил. Женщина, положив карандаш на то место, которое читала, отошла к печке, налила мне чаю, положила в блюдце сливок, разломила лепешку и поставила все это передо мной. А сама продолжала читать.

Осторожно тикал маленький будильник на столике у изголовья кровати, на которой спал старик. Тиканье будильника еще больше подчеркивало тишину вечера. Я сидел, курил, прихлебывал зеленый чай и думал о том, как стремительно летит время. Тридцать лет тому назад в этих степях буряты смотрели на газету, как на чудо, фотоаппарат они принимали словно некое волшебство, а трактора попросту боялись. И вот теперь сидит женщина-чабан и читает о том, как была сфотографирована Луна. Спокойствие — символ силы, так же как чрезмерная восторженность — явный показатель слабости. Эта женщина, спокойно читавшая про открытие, потрясшее мир, была из категории людей, которые властвуют над природой, а не подчиняются ей. И когда она, накинув полушубок — вечера в Забайкалье морозны, — вышла из юрты и легко вспрыгнула в седло, чтобы собрать отару, пасшуюся по склонам сопок, я понял, в чем не могу согласиться с Рерихом.

Женщина сидела в седле прямо, чуть откинувшись назад, зажав поводья в маленьком кулаке. На фоне неба контрастная, маленькая фигурка женщины властвовала надо всем окружающим.

Перед тем как ускакать к склонам сопок, женщина тихо засмеялась и сказала мне:

— Вон, Луну сняли, а я сыну никак карточку отправить не могу. Ты меня завтра утром уж сфотографируй, пожалуйста.

— Хорошо, — сказал я, — обязательно сфотографирую.

— Ты пока иди, приляг на кошме, отдохни.

— Спасибо. Я пойду отдохну.

...Утром, когда я уходил от них, старик показал мне карточку мужчины в элегантном костюме, с пенсне на острых глазах. Жена чабана достала из альбома связку писем и протянула один из конвертов:

— Спиши. Тут его адрес.

Я взял конверт. Внизу было написано: «Улан-Удинская обсерватория, младшему научному сотруднику Ценжапу».

Старик пояснил:

— Это он, наш сын.

— Да, — подтвердила жена, — это наш сын.

Она посмотрела на меня и, отвернувшись, улыбнулась. Я понял, почему она улыбнулась, и мне стало совестно. И тогда я понял, в чем, как мне кажется, ошибка Рериха. Я уже писал о ней. И я повторяю еще раз: здесь люди властвуют, а не подчиняются...

НИНА, ВЭВЭ И Я САМ

Нина — краснощекая, русоголовая, сероглазая и вечно смеющаяся. Здесь, в этом большом забайкальском колхозе, она проходит преддипломную практику под руководством ветеринарного врача Венедикта Венедиктовича. Все то время, пока я вижу Нину, она поет. Нина поет звонко и наивно. Она поет так, будто вокруг нет ни единой живой души.

Петь Нина начинает с шести часов, прерываясь только тогда, когда приходит Венедикт Венедиктович. Они вечно спорят. Они спорят по поводу и без повода. Вот и сейчас Нина говорит:

— Нет, Венедикт Венедиктович, я не могу быть уверенной в Гале.

— Ты можешь быть уверена в ней.

— Нет, не могу.

— Можешь, — повторяет Венедикт Венедиктович, — только ей надо колоть два миллиона пенициллина в день, а не пятьсот тысяч. И надо ингаляцию делать три раза, а не один раз.

— Венедикт Венедиктович, — сердится Нина, — я удивляюсь вам.

— Нечего удивляться.

— А я все же удивляюсь. Ведь Галка — явно выраженный ангеноид.

Потом, без всякого перехода, Нина вскакивает из-за стола, всплескивает сокрушенно руками и просит:

— Венедикт Венедиктович, наколите дров, а то печка затухнет.

И руководитель дипломной практики послушно поднимается. Он идет к сараю и там неумело, суматошно рубит дрова. Нина видит в окно, как неумело рубит дрова Венедикт Венедиктович, сокращенно именуемый Вэвэ, снова всплескивает руками и выбегает к нему — на помощь.

Слышно, как она говорит:

— Это мокрая осина, ее не колите...

— Не такая уж она мокрая, — не соглашается Вэвэ.

— Ах, послушайте. Я снова начинаю удивляться вам, — сердится Нина.

Они рубят дрова и спорят, возвращаются в дом, подтапливают печь — спорят, продолжают разговор — спорят.

— Венедикт Венедиктович, — говорит Нина, — что бы вы мне ни доказывали, все равно я уверена — Галка умрет.

— Ты хочешь сказать — падет.

— Нет, я хочу сказать то, что сказала: Галка умрет.

Венедикт Венедиктович смотрит на Нину влюбленными, близорукими глазами и качает головой.

— Если ты будешь вводить ей два миллиона и делать ингаляцию, — не умрет...

Потом он уходит, задевая острыми плечами за притолоку.

Нина достает из портфеля тетрадочку в черном дерматиновом переплете. Это ее дневник. Она записывает:

«Ветврачи и архиварнусы носят в сердцах обломки поэта. Меня убеждают в этом примеры Вэвэ и Юры».

Я отхожу от своего подоконника, который заменяет мне письменный стол во время споров Нины и Венедикта Венедиктовича, сажусь рядом с девушкой, придвигаю к себе закопченный чайник и спрашиваю:

— Нина, тебе надоел Вэвэ?

Девушка смеется. Курносое лицо полно лукавства и прелести. Она близко придвигается ко мне, заглядывает в глаза, хочет сказать что-то необыкновенное, важное и доверительное, но потом, вдруг передумав, убегает в угол комнаты. Острогрудая, тонкая, быстрая — девушка похожа на косулю, которая все время пугает и себя и окружающих.

— Уйдите, пожалуйста, — смеется Нина, — я нисколько не боюсь сказать вам то, что хотела сказать. А это ведь самое большое оскорбление для мужчины — не так ли?

И я ухожу к своему подоконнику и начинаю писать там то, что никак не пишется мне уже который год.

Вечером Нина заносит в красную клеенчатую тетрадочку — в дневник производственной практики: «Ввела Гале 2 млн. Ингаляцию с соломой, облитой эфиром, — два раза. Крепкого сильна по-прежнему. Т. 38,4».

— Выключите свет, — говорит мне Нина, — я хочу спать.

Мы живем с ней в одном доме, который в колхозе называется гостиницей «Националь» с тех пор, как здесь ночевали делегации итальянцев, монголов и чехов. В большой комнате — восемь кроватей. Я сплю около окна, а Нина в противоположном углу, около печки.

— Сейчас выключу, — говорю я, — только дай мне дописать.

— Что же вам писать? — удивляется Нина. — Вы же не ветеринар.

— Да, — соглашаюсь я, — это точно, я не ветеринар.

И мне самому делается странно: что же может писать в тетради человек, не врачующий корову Галку с краснотой в верхних дыхательных путях. И — выключаю свет.

— Зажмурьтесь, — просит Нина.

И я жмурюсь. Я слышу, как с нее спадает платье, потом пояс и — мягко — чулки. Она раздевается совсем как моя дочка. Та тоже лениво, но в то же время деловито сбрасывает свои крохотные трехлетние гарнитуры.

Мне хочется подойти к Нининой кровати и собрать все ее нехитрые вещи, но я, конечно, не сделаю этого. Я знаю, что Нина рассердится и спросит:

— Я удивляюсь вам — куда же вы идете?

И я ничего не смогу объяснить ей. Ни про свою дочку, которая за семь тысяч километров отсюда, ни про святыню детских вещей, ни про то, как я тоскую о той женщине, что живет на Кутузовском проспекте. Она не поймет этого, потому что слишком молода.

Утром Нина сидит около стола и записывает в красной тетради:

«В шесть часов сделала очередную инъекцию и втирание. Краснота по сравнению со вчерашним днем опала. Странно. . .»

Потом Нина оборачивается и смотрит на меня. Я жмурюсь. Нина вздыхает, отодвигает от себя книгу, которую я подарил ей, и записывает в чер-

ной клеенчатой тетради один из вычитанных где-то афоризмов:

«Творчество всегда несколько отдает анархией и близорукостью».

Потом она прячет обе тетради в портфель и начинает петь, подметая комнату. Окончив уборку, Нина прихорашивается перед зеркалом, заглядывает после этого в окно, не идет ли Вэвэ, пишет мне записку, уведомляющую о том, что баранина спрятана в духовом шкафу, картошка под столом, и — уходит.

Вэвэ всегда запаздывает. Он заглядывает в наш «Национаь», молодое лицо его растерянно, он конфузится и спрашивает делано-безразличным голосом:

— А что — практикант ушел?

И, не дожидаясь ответа, убегает на ферму.

Возвращаются они под вечер — все в запахе скипидара, парного молока и лошадиного пота. Нина говорит:

— Венедикт Венедиктович, поставьте чайник.

И пока Вэвэ наливает в чайник воду из ведра, Нина записывает:

«Галя выздоровела после проведенного мною курса активной пенициллинотерапии и нигаляции вперемежку с втираниями».

Чайник стоит на печке. Я сижу, как обычно, у подоконника. Вэвэ осторожно подсаживается к Нине и, опасливо косясь на меня, норовит обнять девушку за плечи. Я слышу звук пощечины.

— Мужчины всегда все чувствуют, — говорит Нина, — даже спиной.

Это обо мне, потому что я сижу спиной к ним.

Вэвэ говорит:

— А может, и не чувствуют...

Нина смеется:

— Доктор, вы совсем ничего не понимаете... Это уже оскорбление.

— Знаете, — сердится он, — вы уж, пожалуйста...

Но что «пожалуйста», он так и не договаривает. Нина фыркает.

— Уходите, Венедикт Венедиктович, я спать хочу.

И он покорно уходит. А я чувствую спиной, сердцем и разумом, что уйти должен был я.

Нина записывает в черном дневнике:

«Каждый человек имеет право на мечту. А лучшая мечта — это вера в то, что его любят».

— Зажмурьтесь, — говорит она, — я спать хочу.

Я жмурюсь и вижу в окне звезды. Их много, этих низких и ярких звезд. Я смотрю в небо, и мне становится спокойно и счастливо.

ПУТЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

ЛЮДИ

На столе ответственного секретаря нашей газеты Сапырина лежит только что вскрытый конверт. Сапырин откладывает в сторону три листа, а остальные протягивает мне.

— Этот документ, — говорит он, — важен как программа.

Сапырин любит преувеличения, я знаю. Но я молчу и не улыбаюсь. Я смотрю на листки бумаги, которые он протянул мне. Они вырваны из ученической тетради. Аккуратные синие клеточки были

предназначены для мудреных арифметических задач о трубах, которые почему-то забирают воду из бассейна, или о поездах, которые стремительно катят навстречу друг другу, но никак не могут встретиться.

На листках бумаги вместо цифр — слова. Если листки эти попадутся учителю словесности, он их исчеркает красным карандашом: чуть не в каждой строке — ошибка. И почерк корявый. Неровный, заваленный влево.

Это письмо в редакцию — описание профсоюзного собрания, которое созвал старик Алаторцев, старейший в Сибири поисковик алмазов. Собрание происходило в тайге, в двухстах километрах от человеческого жилья, на берегу порожистой, стеклянной Сумары.

Созвал экстренное собрание Алаторцев потому, что Анатолий Горохов, начальник их поисковой партии из экспедиции профессора Цыбенко и Воронова, приказал прекратить поиск алмазов по Сумаре.

Осень шла за геологами. А за осенью следует зима. А с зимой в тайге нужно считаться. Но геологи решили не считаться с зимой, потому что здесь, у Сумары, должны быть алмазы. За это говорили данные шлихов и опыт стариков. Алмазы должны быть здесь, только надо получше поискать. Со злостью. Без злости алмаза не найдешь. А Горохов велел прекратить поиски. Он был крепким человеком, он каждое утро купался в реке, делал зарядку и сохатого бил одной пулей. А сейчас он не хотел никого слушать.

— Мы перевыполнили все планы, — говорил он, — мы прошли с поисками на сто километров больше, чем надо было. За это всем будет премия.

— Да нам алмаз нужен, — злился Алаторцев,— а не премия! Она сама собой приложится.

— Может, ты и от зарплаты откажешься? — засмеявшись, спросил Горохов и начал намыливать щеки. Он брился каждое утро и уверял, что, если кончатся лезвия, он станет бриться топором.

— Зачем же отказываться? — удивился Алаторцев. — Никак не откажусь, я до денег жадный.

— Так в чем же дело? Через неделю вернемся в поселок, и ты переведешь деньги на аккредитив.

— Что касается меня, — заметил Лешка Пашков, самый молодой в партии рабочий, — так я бы аккредитивы красного цвета делал.

— Это почему? — спросил Алаторцев.

— А потому что я дальтоник. Мне синий цвет глаза режет.

— Ничего, и с синим жить можно, — засмеялся Горохов. — Так, значит, завтра трогаем, друзья?

— Нет, Анатолий Иваныч, — покачал головой Алаторцев.

Горохов нахмурился и выбрил щеки еще раз. Сполоснув стакан и кисточку, он вымыл лицо холодной водой, пофыркал, довольный, и спросил:

— Кто здесь главный, Алаторцев? Ты или я?

— Разберемся, — ответил старик и созвал профсоюзное собрание.

Люди расселись вокруг костра. От одежды валил пар, смешанный с тяжелым запахом пота. Попрежнему моросил дождь, и дрова от этого шипели, вспениваясь белыми пузырьками.

От реки поднимался холодный туман. Плотный, серого цвета, он рвался на белые, ватные куски, когда ветер гнал его на берег, поросший густым колючим кустарником. От луга тоже поднимался туман, но этот туман был теплым, хотя ночи становились холодней с каждым днем.

— Форум у нас есть? — спросил Алаторцев, когда люди, вытянув к костру ноги, приготовились слушать.

— Не форум, а кворум, — поправил Алаторцева его племянник Саша Сизых.

— Ладно, чего там! — обидевшись, буркнул Алаторцев и повторил: — Так, значит, кворум налицо? Сизых тут, Мишка тут, Леша тут, Анатолий Иванович тут, и я, обратно, тут. Значит, все?

— Все, — подтвердил Леша Пашков, — так что начинай.

Алаторцев подвинулся к Горохову и спросил его:

— Вот ответь, Анатолий Иванович: тебе что важно?

— Работа, — засмеявшись, сказал Горохов.

— Работа работе рознь, — заметил огненно-рыжий красавец Мишка Савельев. — Это я к тому говорю, что меня вот, если, к примеру, плотником поставишь или бухгалтером, — с тоски помру. Ужас будет.

— Хоть и туманно, но ясно, — сказал Алаторцев. — Ты, верно, о том хотел высказаться, что в каждой работе смысл важен, так?

— Вот, точно, Мироныч! — обрадовался Савельев. — Ну просто ты словно жонглер какой: мысли на расстоянии читаешь. Вот к нам в Бодайбо один такой приезжал...

— Погоди, — оборвал его Алаторцев, — ты про фокусы разные чуть погодя расскажешь.

— Иван Мироныч, — обратился к Алаторцеву Лешка, — я так полагаю, что в каждой работе конец важен, чтоб плоды появились.

Алаторцев внимательно посмотрел на Горохова. Тот прятал улыбку в уголках красивого рта.

— Вам знакома категория бесконечности, Алаторцев? — спросил Горохов после минуты молчания.

— Вы меня, Анатолий Иваныч, всякими там вашими категориями не стращайте.

Алаторцев покраснел и отвернулся от Горохова. Сизых придвинулся поближе к старику. Савельев принес охапку хвороста и начал подкладывать в затухавший костер тонкие ветки.

Горохов перестал улыбаться. Нахмурившись, он оперся на кулаки и встал.

— Странное дело выходит, товарищи, — начал говорить он, то и дело потирая мизинцем резкие морщины у переносицы, — мы уже две недели торчим у Сумары, а толку никакого нет. Так что о категории бесконечности я не зря спросил. И вы уж не обижайтесь, Алаторцев, словно барышня. Я просто хотел сказать, что мы здесь можем про-

возиться бесконечно долго, а вот будут ли алмазы — сие никому не известно.

Горохов говорил свободно и красиво. И чем больше он сейчас говорил, тем сильнее начинал верить в то, что алмазов на Сумаре действительно нет, и тем скорее ему хотелось вернуться в поселок экспедиции и увидеть геолога Наташу Рябинину...

— Итак, повторяю, алмазов здесь нет, хотя данные шлихов и благоприятны. Если бы алмазы были, мы бы их уже нашли.

— Мы найдем, — сказал Сизых, — только еще маленько поискать надо.

— Алмаз тут есть, — подтвердил Алаторцев.

— А план есть?! — вдруг разозлившись, спросил Горохов. — Для вас план есть?

— Для того и живем, чтобы планы при надобности ломать. Мы за последние годы планов много поломали, и ничего плохого, кроме хорошего, из этого не получилось. А планами нас стращали не то что ты, Анатолий Иваныч, — головами куда повыше.

Дикий луг оделся росой. Сквозь низкие тучи проглянул месяц.

— Ну, знаете, — сердито нахмурился Горохов, — вы так черт знает до чего договоритесь!..

— Мы не договоримся! — загремел старик. — А если нужно будет, так я где угодно заявление сделаю: плевал я на твои планы и бесконечности, если стране алмаз нужен! Не для дяди на зимний риск идем. Понял?

Стало тихо. Тесно прижавшись к высокому Алаторцеву, сидел Савельев и свирепо раздувал ноздри.

Он боготворил Алаторцева и знал, что старик умеет сохранять спокойствие. А сейчас он заорал потому, что его обидели. Лешка Пашков, зачарованно глядевший в костер, поднял на Горохова круглые глаза и полез за кисетом.

— Так вот что, — медленно сказал Горохов, — я отвечаю за нашу поисковую партию. В тайге главное — слитность, чувство локтя. Чтобы существовать, мы должны быть машиной, единой, сильной машиной. И я в этой машине, если хотите, — мотор, руль. А вы — колеса, подчиненные моей воле. Ясно? Пока мы здесь, вы будете беспрекословно выполнять мои приказы. Завтра мы отсюда уходим. Поиски прекращаем. Все!

— Эх, ты, — покачал головой Алаторцев. — Никакое я не колесо, а полноправный гражданин Советского Союза. Понял?

Старик обернулся к людям и спросил:

— Как, ребята, считаете, будем продолжать поиски?

— Будем, — ответил Мишка Савельев.

— Да, — сказал Сизых.

— Да, — сказал Лешка.

Горохов собрал глаза узкими, собольими щелочками.

— Критиковать меня критикуйте, но такого решения вам принимать никто не давал права.

— Давали, — успокоил его Алаторцев, — из рук в руки получили. Прямиком из ЦК. Точка. Единогласно, что ли?

— Я против, — сказал Горохов и ушел к себе в палатку.

— Ладно, — вслед ему крикнул Алаторцев, — отметим в протоколе!

...«Резолюция собрания членов профсоюза. Слушали и постановили: поиски алмазов на Сумаре продолжать. А. И. Горохову предложить остаться вместе с нами и давать научный взгляд на поиски. А если не хочет — пусть уходит, провианту все равно не дадим, потому что у самих очень мало. За председателя — Алаторцев».

...Я отложил письмо в сторону.

— Ну как? — весело спросил меня Сапырин. — Любопытно, а?

— Очень. Только кое-что непонятно. Чем все это кончилось? Нашли алмазы у Сумары или нет?

— Понимаешь, старик, дело тут не только в алмазах. Тут вроде любовь-злодейка замешана. Хотя, черт его знает — может быть, это все фантазия. Тут Алаторцев в конце пишет, что Горохов-то вроде у другого геолога их экспедиции, — Сапырин заглянул в письмо, — у Воронова, девушку любимую хотел отбить, что ли... Поэтому, мол, и торопился уйти. Словом, во всем этом деле разобраться стоит: иди в бухгалтерию, оформляй командировку.

Я добрался до экспедиции через три дня. Алаторцева я не увидел: он еще не возвращался с Сумары. И Горохова тоже не застал: он только как

два дня назад ушел обратно в партию — вместе с геологом Наташей Рябининой.

— Зачем они пошли? — спросил я начальника экспедиции профессора Цыбенко.

Старик посмотрел на меня, хмыкнул в бороду и ответил:

— Правдоискательство, мой друг, правдоискательство. Девица хочет реабилитировать Горохова, потому что я назвал его, изволите ли видеть, дезертиром...

ЛАСКА

1

— Неужели сбились, Наташа?

— Не знаю. У тебя спички есть?

— Да.

— Зажги.

Горохов слез с оленя, достал из кармана коробок и начал чиркать спички одну за другой, ломая их. Ветер швырял верхушки кедров. Тайга гудела тоскливо, сердито...

— Спички сырые, — сказал Горохов. — Черт, неужели сбились?

— Заночуем здесь? — спросила Наташа.

Горохов подошел к ней и вздохнул.

— До зимовья должно остаться не больше пяти километров. Может, дотянем?

— Дай мне спички, — попросила девушка.

Горохов нашел ее руку, и она почувствовала, какие у него холодные пальцы.

— Ты замерз?

— Нет. Немного.

Наташа опустилась на колени, согнулась и, спрятав коробок в ватник, зажгла с третьего раза спичку. Она успела разбросать снег вокруг себя и приглядеться: тропы не было. Дула пороша. Все следы замело. Непроглядная тьма легла на землю так плотно, что даже запуталась в ногах у деревьев. Олени не хотели идти вниз. Горохов с остервенением бил их кулаками в бока и тянул за собой изо всех сил.

— Не надо, Толя, ведь все равно не пойдут. Давай лучше костер разложим.

— Какого черта нам этот костер? Все равно не разожжем. Ветер...

Ветер... Он коварный здесь, в Саянах. Он заметает тропу, он вяжет людей незримыми, ледяными ниточками.

— Топор у тебя, Толя?

— Да.

Он долго искал топор во вьюках.

— А ты его вообще-то взял?

— Откуда я знаю! — ответил Горохов высоким голосом, не похожим на его обычный, чуть хриповатый басок. — Я не знаю, зачем тебе понадобилось идти на Сумару, просто не знаю!

Наташа улыбнулась в темноте. Она поняла, что Горохов так нервничает из-за нее. Если бы он попал в буран один, он наверняка бы не волновался так, как сейчас.

— Ты сердишься? — спросила девушка.

— Ничего я не сержусь. Просто порезал палец.

Наташа стала разгребать сугроб под елью. Пальцы мерзли, снег сухой и колючий, он набивался под ногти. Потом рукам сделалось теплее: Наташа докопалась до мха. Она сунула пальцы под шапку, отогрела их и только потом начала рвать сухой мох для костра.

— Нашел! — радостно крикнул Горохов. — Нашел топор!

Через полчаса они сидели около костра, близко прижавшись друг к другу. Острые блики пламени метались по их лицам наперегонки.

— Чай пить будем? — спросил Горохов.

— Обязательно.

Горохов достал из вьюков котелок и зачерпнул снега. Поставил прямо в костер. Котелок сразу же стал черным. Костер сердито зашипел, языки пламени стали лизать снег, превращая его в синюю воду.

Горохов снова сходил к вьюкам и принес карабин.

— Зачем? — спросила Наташа.

— Шатун, говорят, бродит.

— Медведь?

— Конечно, не кошка.

Девушка придвинулась к нему и сказала тихо:

— Страшно.

— Ты, оказывается, трусиха.

— Ага.

— А еще геологом называешься. Что ж тебе бояться, когда я рядом?

Он обнял девушку. Наташа съежилась. Горохов прижал ее к себе и поцеловал в нос.

— Холодный. Люблю тебя.

Он взял ее лицо в руки и начал целовать глаза медленно и долго. Губы у него были шершавые, потрескавшиеся. Наташа вспомнила, что у Воронова точно такие же губы. Только он совсем не умел целоваться. Она целовала его, а Воронов только краснел и растерянно щурился.

— Толя, — спросила девушка, — Толя, а ты меня правда любишь?

Горохов ничего не ответил. Расстегнул ее куртку и положил руку на грудь. Голова у Наташи закружилась. Ей стало еще холоднее, а по спине поползли цепкие мурашки. Снова вспомнился Воронов, неуклюжий, долговязый, в очках. А рядом — Горохов. И губы у него шершавые и руки властные.

— Не надо, — попросила девушка и отодвинулась.

Горохов достал из кармана махорку и свернул козью ножку. Выхватил из костра головешку и, перебрасывая ее с руки на руку, ловко прикурил. Хмыкнул, покачал головой.

— Смотри, чай закипает, — сказал он.

— Да, пузырится. Пора класть заварку и соль.

— Сейчас я принесу.

Горохов поднялся и ушел в темноту. Олени, связанные друг с другом, разгребали копытами снег и щипали ягель — свое лакомство, похожее по виду на лавровый лист.

— Что ты долго так, Толя?

— Ищу.

Наташа закрыла глаза. «Что же это такое, Воронов? Почему тебя нет рядом? Ведь ты раньше всегда был рядом, всегда и везде. Ты помогал мне разбираться в других и в самой себе. А когда я решила идти с Анатолием к Алаторцеву, ты ничего не захотел мне объяснить. Ты просто сказал, что каждый волен в своих поступках».

Тайга молчала. Ветер стих. И вдруг дикий, нечеловеческий крик рванул ночную темь. Наташа вздрогнула, подняла глаза и увидела перед собой шатуна — бурого медведя.

— Толя, — позвала девушка, — Толя же!..

Крик повторился, но теперь уже слабее: Горохов убегал, продираясь сквозь заросли.

Медведь встал на задние лапы и шагнул к костру. Оцерил пасть. Зубы у него были неровные, налезавшие один на другой, словно плохо ставленный частокол. Медведь зарычал, и рев его отдался эхом.

Прошла секунда, не больше. Наташа откинулась на руки. Правая попала на ствол карабина. Девушка рванула карабин к себе, вскинула к груди и нажала курок. Приклад больно стукнул ее в подбородок. Наташа выстрелила еще раз, и мохнатая огромная туша бухнулась в костер. Запахло паленым.

Наташа поднялась. Ноги дрожали в коленях. Куртка на груди была по-прежнему расстегнута...

— Наташа! — позвал ее Горохов. Он шел из зарослей. — Наташа, — повторил он. — Наташа, боже мой...

2

Они добрались до зимовья, построенного около устья Нянда́рмы, далеко за полночь. В избушке было еще холоднее, чем в тайге. Горохов принес дров и разжег маленькую печку, сделанную из железной бочки. В избушке стало тепло через десять минут.

— Ну что ж, давай распаковываться, — предложил Горохов.

Наташа сняла куртку и подошла к печке. Подбросила еще два поленца и села на пол, поближе к огню.

— Поставь чай, — сказала она.

— Я не люблю, когда мне приказывают.

Девушка ничего не ответила. Протянув руки к открытой дверце печки, она грела пальцы, сжимая и снова разжимая маленькие кулаки. Горохов сходил за снегом, поставил котелок на печку и сел рядом с Наташей.

— Послушай, великая охотница, — улыбнулся он, — а ты на меня серьезно дуешься?

Наташа внимательно посмотрела на него и вдруг рассмеялась.

— Я не дуюсь на тебя, ничуть не дуюсь.

Горохов нахмурился, отошел к столу, сколоченному из плохо оструганных досок. Потер мизинцем переносье.

«Это все, конечно, станет известно в экспедиции, — подумал он. — Просто чертовщина какая-то!»

Достал из заднего кармана флягу со спиртом и спросил:

— Ты хочешь погреться?

Девушка ответила:

— Да.

Горохов налил ей спирта и разбавил его теплой водой. Наташа выпила и закашлялась. Она долго дышала носом и жмурилась, чтобы скрыть слезы. Горохов подвинул ей кусок хлеба и посыпал его солью. Наташа съела промерзший кусок и вытерла пальцами под глазами. Глаза у нее были смешные, лунные, словно у китаянки.

Потом выпил Горохов. Он крякнул, закурил и, улыбнувшись, покачал головой:

— Вот ведь какая штука жизнь, а?

Наташа ничего не ответила. Тогда Горохов взял ее руку в свои и сказал:

— Я шатун, Наташенька, самый настоящий шатун. Я ищу, но ничего не могу найти, потому что мне мешают другие медведи, более сильные. Вот тебя я нашел — и то, вижу, теряю. Оттого, что попался более сильный шатун. Что смеешься? Не надо. Если бы я сидел у костра, а ты пошла за солью к вьюкам, ты поступила бы так же, как и я.

— Может быть. Только Воронов бы так не поступил.

— Воронов? — переспросил Горохов. — Ты говоришь, Воронов?

Он увидел, что Наташа смотрит на него с усмешкой, и это было самым неприятным. Пусть бы она плакала. Когда женщина плачет, тогда легче. Горохов знал это и умел утешать плачущих женщин.

— Ты очень красива, — задумчиво сказал он, — а я ценю красоту и болезненно воспринимаю дис-

пропорцию. В чем бы то ни было. Когда я видел Воронова рядом с тобой, меня рвала злоба. В конце концов, мы все — биологический вид. Самцы и самки. И нам нужна гармония. Ты и я — гармония. Ты и Воронов — дисгармония. Пусть даже он и стал бы кидаться на медведя с кулаками. Ты должна быть со мной, и ты будешь со мной.

Горохов подсел к Наташе и больно взял ее за руки у плеч. Он рванул ее к себе и прижал холодное лицо девушки к губам. Наташа оттолкнула его и сказала:

— Ты не шатун, Горохов. Если бы ты был шатуном, честное слово, я бы осталась с тобой. Но ты просто ласка. Ты знаешь этот биологический вид?

Горохов опустился перед девушкой на колени и, прижавшись головой к ее ногам, зашептал:

— Наташа, любимая, не надо! — И вдруг закричал: — Наташа! Я люблю! Не надо так!

— Слушай, перестань, — поморщилась девушка, — противно.

Она снова улыбнулась.

— Ну какой ты шатун? Ласка. Быстрая, красивая, хитрая. И знаешь, это великое счастье — то, что случилось сегодня. Я увидела настоящего шатуна и настоящую ласку.

Горохов снова стал целовать ее ноги в меховых штанах, обшитых чертовой кожей.

— Я бросил все на Сумаре, чтобы увидеть тебя, Наташа! Я все бросил, все, ради тебя. Я оправдывал себя, потому что это во имя тебя!

— И убежал, когда был шатун, тоже во имя. . . — засмеялась девушка.

«Если сейчас она станет моей, — подумал Горохов, — тогда все изменится».

Он поднялся с колен, хрипло засмеялся и задул свечу. Наташа бросилась к двери, где стоял карабин.

— Как только ты посмеешь подойти ко мне, Горохов, я выстрелю в тебя.

Всю ночь она просидела около печки, подбрасывая время от времени березовые поленца. Она смотрела в огонь и думала: «Хороший мой, добрый Воронов. Любимый мой человек. Ты думаешь обо мне, Воронов?»

АЛ-МАС[1]

Начальник поисковой экспедиции профессор Цыбенко сидел возле окна. Стекла были разрисованы тонким кружевом инея. За печкой пел сверчок. Бревенчатые стены дома пахли жарким хвойным лесом.

Цыбенко был неисправимым поклонником охоты и всего к ней прилагавшегося: над узенькой железной кроватью висели три ружья, хотя стрелял профессор из рук вон плохо. Чуть пониже ружей висели ножи: огромные тесаки и маленькие, с наборными ручками финки.

— Что же мне сказать вам, Наташенька? — за-

---

[1] Ал-мас — наитвердейший (арабск.).

думчиво спросил Цыбенко и потрогал оттопыренным мизинцем граненый стакан. — Я просто не знаю, что сказать. Я лучше спрошу. Вы фильм «Летят журавли» смотрели?

— Смотрела.

— А «Дом, в котором я живу»?

— Тоже.

— Ну и как? Понравились?

— Очень.

Профессор сморщил лицо и сказал жалобным голосом:

— А мне ужасно не понравились. Консерватор? Ханжа? Нет. Ни то, ни другое. Когда героиня одного фильма изменяет тому, кто на фронте защищает ее честь, — это для меня не героиня. Фильм, посвященный верности, никак, ну никак не может иметь в первооснове своей неверность. И, бога ради, не убеждайте меня, что душой она верна. Я, понимаете ли, матерьялист...

Последнее слово Цыбенко произнес нарочито по-старинному, через мягкий знак. Взглянув на девушку, он нахохлился и снова начал вертеть стакан коротенькими плоскими пальцами.

— А когда героиня другого фильма, жена геолога, — снова начал он, сердясь на что-то, — отдается первому встречному, — ах, ах, с тоски! — для меня это тоже не героиня. Терпеть не могу ущербности. А ссылаться в гадостях на тоску и скуку чудовищно в наше время. Вы видели, сколько по Москве расклеено объявлений о наборе рабочих на Север и в Сибирь? А вы знаете, какие дают подъемные? А вот Стивенсону подъемных не давали

и проезд не оплачивали. Сам ехал. И вообще тоска — это следствие нездорового воспитания, честное слово.

Наташа покачала головой и сказала задумчиво:

— В жизни всякое бывает, Иван Петрович. Жизнь — не телеграфные столбы, вытянутые по прямой.

Профессор запахнул свою коротенькую цигейковую куртку и пошел к шкафу. Пошуршав там бумагами, он достал большую коробку шоколадных конфет.

— Угощайтесь, — предложил Цыбенко, — это очень вкусно. Вы любите шоколад?

— Не очень.

— Это почему же? Шоколад полезен.

Наташа улыбнулась.

— Знаете, Иван Петрович, мне по возрасту не положено относиться к чему бы то ни было с точки зрения полезности.

— Ваша любезность не знает границ, — заметил Цыбенко. — Значит, шоколад нужен только старым развалинам вроде меня? Так?

— Вы меня в краску вгоните.

— Вряд ли, — сказал Цыбенко, — вряд ли я смогу вогнать вас в краску.

У Наташи загорелись уши. Она сдержалась, чтобы не встать и не уйти. Цыбенко заметил это и засопел носом.

— Так вот о героях и героизме. Джек Лондон — это мужество, а Багрицкий — героизм. Этому я поклоняюсь. Серятинка обывательских бурь меня раздражает.

— Не всегда это серятинка и обывательщина. Иногда это жизнь.

Цыбенко забегал по комнате, натыкаясь на стулья. Давно сдерживаемое прорвалось:

— Жизнь, говорите? Галиматья! Романтика миллионов — это жизнь. Жизнь — это то, что происходит сейчас в России. Жизнь, представьте себе, — это МТС — колхозам! И не смотрите на меня так, будто я учитель политграмоты. Когда я ехал сюда из Тайшета, я видел, как люди в вагонах обнимали друг друга и плакали от радости. Творят счастье не в крахмальных манишках, а в рваных ватниках и вонючих унтах. Воронов — это романтика! Я — это романтика! И не смейте, — крикнул Цыбенко, остановившись перед Наташей, — не смейте порочить мое понятие романтики!

— Иван Петрович, не сердитесь, — попросила девушка, — я просто говорю, что в жизни всякое бывает.

— Бывает? Да, бывает. Положите под микроскоп породу, и вы увидите там многоцветность, восхитительную по тонам и пустую по смыслу. Вся эта восхитительная мишура не стоит одного крохотного кристалла алмаза. Вы должны выбросить всю эту многоцветность во имя алмаза, потому что он наитвердейший! Но если вы только за красоту, сопутствующую алмазу, — нам не по пути. В людях я уважаю то же, что и в алмазе: твердость.

— Я понимаю это, — сказала девушка, не поднимая головы.

— Не верю, — отрезал профессор. — Если бы понимали, так первым делом спросили бы меня,

где Воронов. Где человек, который любит вас, как самый последний идиот?

— Где Воронов, профессор?

Цыбенко обрадовался и снова забегал по комнате.

— Где Воронов, спрашиваете? Уехал! В Якутию! Да-с, к черту, к дьяволу, к океану.

Наташа подалась вперед.

— Когда?

— Через день после того, как вы с Гороховым отправились за этой — как ее? — за вашей особой романтикой. Это романтика, когда всякое случается, всякое бывает!

— Да, бывает, — сказала Наташа и посмотрела в лицо профессора глазами, полными слез.

— Молчите! Не смейте оправдываться! «Бывает» — отговорка слабых. У них многое бывает. «Бывает» смакуют те, кто сидит в перенаселенных городских квартирах, на пяти квадратных метрах, но зато с теплой уборной. Смакуют это проклятое слово те, которые не понимают прелести дальних дорог, горя разлуки, трепетного ожидания встреч. Смакуют те, кто ни черта не смыслит в жизни и радостях ее, те, которые с романтикой знакомы по кинематографу! Смакуют от тоски, от жены, которая радуется два раза в месяц — в дни получения мужем зарплаты; а жене тоскливо от мужа, у которого главная радость в жизни — купить бостоновый костюм с покатыми плечами, поиграть в преферанс и напиться до чертиков в дни праздников. Молчите, Наташа, вам нечего сказать мне!

— Да, — ответила девушка, — да, Иван Петрович, мне нечего сказать вам. Я просто напишу.

— Роман в письмах?

— Проще. Заявление об уходе.

Профессор откинулся на спинку стула, сморщил лицо.

— Значит, бежим?

— Нет, едем!

— В Москву? К бабушке?

— Нет! В Якутию, к Воронову!

Цыбенко погладил свою блестящую, словно блюдце, лысину.

— Поздно, Наташенька, — сказал он, — чуточку поздно. Воронов улетел последним самолетом. Теперь связи с его партией не будет месяца три-четыре.

— Будет, — ответила Наташа, засмеявшись сквозь слезы, — обязательно будет.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Машины шли медленно. Свет фар пробивал белую стену снега только на пять метров. Мороз ломал стволы деревьев. Те скрипели, и от этого казалось, что лес стонал.

В головной трехтонке начальник снабжения Якутской геологической партии Дмитрий Сергеевич Геметов то и дело протирал рукавицей чистое ветровое стекло и сокрушенно качал головой.

— Бабу везем, вот и не видно ни черта. Пурга.

— Все равно была бы, — возразил шофер Сейфуллин, — прогноз такой.

— Ты что, метеоролог?

Сейфуллин непонятно улыбнулся. Ссориться с Геметовым никак не входило в его планы, потому что везли сейчас, помимо оборудования для электростанции и двух кинопередвижек, шампанское, спирт, вина и всяческую снедь к встрече Нового года. А перед отъездом из экспедиции, три недели тому назад, новый начальник Воронов, человек, как выяснилось, непьющий, объявил, что свою порцию шампанского, а равно и другого производного не только от виноградной лозы, отдаст шоферам, если груз будет доставлен в полной сохранности и к сроку.

— Вон как везу осторожненько, — сказал Сейфуллин, забыв о том, что рядом с ним не Воронов, а Геметов.

В силу профессиональной проницательности снабженец понял, куда клонит Сейфуллин, и ответил загадочно:

— С неба звездочка упала...

Сейфуллин внимательно поглядел на небо, ничего, конечно, кроме беспросветной белой мглы, не увидел, но дипломатично согласился:

— Да, бывает...

...Шофер второй машины, Проценко, ехал один и пел. Он всегда пел. Он даже думал словами стихов или песен. Когда Проценко хотел объясниться с медсестрой Людочкой, он говорил:

— Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу,
Я хочу под этим взглядом слушать чувственную вьюгу

Людочка смеялась и садилась рядом с ним. Проценко лихо закидывал ногу за ногу, пощипывал струны гитары и запевал томно:

На деревне расставание поют,
Провожают В. Проценко в институт...

Людочка теребила косынку.

Скажите, девушки, подружке вашей,
Что я о ней одной страдаю, —

нерешительно заканчивал Проценко и всегда после этих слов норовил Людочку обнять. Но каждый раз после этой неудачной попытки он оставался один.

— Эх, неприятно! — вздыхал он и тоскливо смотрел в бесконечно веселую пропасть синего ночного неба.

...В третьей машине вместе с шофером Гостевым ехала Наташа. Сначала девушка ему не понравилась. Он косил глазом весь первый день пути, изучая ее профиль. Шофер видел курносый нос, ямочку на щеке и мохнатые серые ресницы. Второй и третий день Гостев беспрерывно курил. Курил так, что в кабине, где воздух был раскаленным от маленькой печки, делалось сине, как в тайге летом после грибного дождя.

Вечером третьего дня решили заночевать в пути, потому что до ближайшего зимовья осталось километров пятьдесят, а по такой пурге, да еще ночью, эти пятьдесят километров могли бы оказаться похуже других пятисот.

Наташа вызвалась дежурить. Шоферы уснули сразу же, как по команде. Девушка сидела рядом

с Гостевым и думала о том, как ее встретит Воронов. Он не знал, что она едет к нему. Собственно, Воронов и не мог знать, потому что никто не верил, что машины смогут пробиться в поселок, за тысячу километров, в декабре, месяце буранов...

Моторы работали на холостом ходу, убаюкивая. Лихо, по-разбойному посвистывал ветер. Наташа вылезла из кабины и пошла к головной машине.

Геметов спал на плече у Сейфуллина, подложив под щеку ладони, сложенные лодочкой. Во сне он был не страшным, не таким, как показался Наташе в первый день в Якутске, когда она умоляла снабженца взять ее с собой. Геметов тогда раскричался и заявил, что с него тара. Почему тара, какая тара, он не объяснял. Наташа пошла в обком, и только это спасло ее от зряшнего трехмесячного пребывания в городе. Геметов рассвирепел и заиграл желваками.

— Я думаю, что экспедиция без вас не погибнет, — сказал он Наташе, когда они вместе вышли от инструктора по промышленности, — но если погибнем мы, так только из-за того, что вы едете с нами. Я, знаете ли, боюсь женщин в дороге.

— Правильно делаете, — согласилась Наташа и, не попрощавшись с ним, пошла в гостиницу собираться.

«Через неделю я буду с тобой, Воронов», — думала девушка и не могла сдержать счастливой улыбки.

...Первым проснулся Проценко. Он проснулся оттого, что отлежал себе шею.

Мариника, Мариника,
Ты не спи-ка,
Ты не спи-ка!

Он пропел это бодрым голосом и отправился будить Геметова. Ему он пропел ту же песенку.

— Лемешев, — гордо сказал Сейфуллин.

Геметов протер глаза и ответил:

— Значительно хуже.

Наташа осторожно разбудила Гостева. Тот сладко потянулся, зачмокал губами, хрустнул пальцами и спросил:

— Ма, эт ты?

Увидав Наташу, он покраснел и, чтобы скрыть смущение, закашлялся. Потом с такой силой нажал на акселератор, что мотор, казалось, должен был лопнуть от напряжения.

Наташа села рядом с Гостевым и уснула сразу же, уронив голову на его руку.

— А я повторяю, что баба несет водителю автомобиля несчастье. Это очень правильно, — мрачно заметил Геметов, — потому как примета такая есть...

Дорогу замело так, что головная машина забуксовала. Геметов с Сейфуллиным вылезли из кабины, позвали Проценко и втроем двинулись к гостевской машине. Они заглянули к нему, увидели, что девушка спит на плече у шофера, и пошли расчищать путь одни.

Стометровую полянку одолели за полчаса. Когда

машины въехали в тайгу, Сейфуллин отер пот со лба и сказал мечтательно:

— Сейчас бы семьдесят пять грамм шампанского...

— А двадцать грамм спирта хочешь?

Зная хитрый нрав снабженца, Сейфуллин ничего не ответил, а только вздохнул.

— Чего вздыхаешь?

— Дедушку вспомнил.

— Больше никого не вспомнил?

— Никого.

— Ну, тогда жми.

Машины шли медленно; и снег отлетал от них тугой, словно каучук. Дорогу теперь приходилось расчищать почти через каждые десять километров. Лбы у водителей начали шелушиться от пота, козырьки шапок оторвались и все время налезали на глаза. Геметов скрипел зубами. Проценко пел:

До тебя мне идти далеко,
А до смерти четыре шага.

Гостев поправлял его:

— Шесть, шесть шагов.

— Восемь, — замечал Сейфуллин, — я сам высчитывал.

Наташа смеялась. Геметов перестал скрипеть зубами и переглядывался с шоферами. А когда во время очередного привала Наташа отобрала у всех шапки и пришила козырьки, Геметов сказал:

— От имени и по поручению, словом... большое спасибо...

Утром 31 декабря Геметов начал нервничать. До экспедиции оставалось никак не меньше сорока километров, причем самых страшных: дорога шла вдоль реки, похожей сейчас на лестницу, составленную из тысячи битых, нагроможденных друг на друга зеркал. Из синего прибрежного льда торчали деревья, обернутые в белую вату инея.

— Слушай, Хатиб, — обратился Геметов к Сейфуллину, — а ты быстрее ездить умеешь?

— По шоссе — да.

Дорога петляла вдоль реки, а потом внезапно свернула в тайгу. Снега здесь было чуть поменьше, и Сейфуллин сразу же наддал газ. Так проехали несколько километров, и Геметов даже замурлыкал песню. Он представлял себе, какая в экспедиции будет радость: электричество и шампанское к Новому году. Он представлял себе, как геологи станут благодарить его, как Воронов даст ребятам премию в месячный оклад, как закрутят кинофильм «Мы из Кронштадта», как во все дома придет электричество. Словом, Геметов представлял себе самые радужные картины. Поэтому он недовольно нахмурился, когда Сейфуллин притормозил.

— В чем дело?

— Полянка хитрая, Дмитрий Сергеевич.

— Проскочим.

— Боязно.

— Хатиб, — сказал Геметов с укором, — мне стыдно слушать тебя.

Машина рванулась с места. Стрелка спидометра заметалась, как вратарь в воротах проигрывающей команды. В кабине стало жарко, словно

в бане. Геметов оглянулся: Проценко несся за ним впритык.

«Вот дурень, — подумал Геметов, — воткнется же».

Он распахнул дверцу, стал на подножку и закричал:

— Не ступай на пятки!

Проценко ничего, конечно, не услыхал. Геметов махнул ему рукой: мол, отстань, — но в ту же секунду почувствовал резкий удар в плечо. Пальцы его разжались, и, описав в воздухе дугу, он упал головой в сугроб.

Когда Сейфуллин вытащил его из снега, Геметов ошалело сказал:

— Прямо как из рая вынули. Там все белое.

Потом он посмотрел на Сейфуллина, на Проценко с рассеченным лбом, на его помятую машину, на Гостева с Наташей, которые бежали к нему со всех ног, и сказал:

— Плохо, ребята, дело...

Гостев взял Проценко на буксир, а Сейфуллин с Геметовым двинулись следом, выкопав передние колеса своей машины из глубокой ямы, занесенной снегом. Сейфуллин то и дело посматривал на стрелку уровня масла. Давление неуклонно падало.

— Наверное, сальник, — сказал он Геметову, который все время вертел шеей, вспухавшей с каждой минутой все больше и больше...

Проценко в своей машине кусал губы и вытирал

со лба кровь, которая сочилась из-под марли. Он взглянул на себя в зеркальце и пропел:

Голова обвязана, кровь на рукаве,
След кровавый стелется по сырой траве.

Проценко до боли в суставах сжимал руль, потому что ехать на буксире было необычайно трудно. Снег лежал сухой, крупчатый, пошедший кое-где наледью. От этого машина вихляла, как новичок на катке.

Избушка зимовья, рубленная позапрошлым летом в центре безмолвия, на поляне, стиснутая со всех сторон сильными, заломленными в небо руками деревьев, казалась здесь чем-то сказочным, декоративным.

Луна стояла как раз над поляной. Снег искрился так ярко, что думалось, будто с луны кто-то бросал зажженные спички. Но спички эти были лунными, холодными, как бенгальский огонь, который не может согреть, а уж зажечь — тем более. Только густым черно-белым тучам, окружавшим желтый диск, было, по-видимому, жарко от ночного светила, потому что все они проносились мимо луны на порядочном расстоянии, опасаясь растаять, разорваться на мелкие, беспомощные клочки...

— Приехали, — облегченно вздохнув, сказал Гостев, но тут же вздрогнул, услыхав позади три протяжных гудка — сигнал тревоги.

— Эй, — кричал Сейфуллин, — сюда! У меня мотор заглох!

— Вот тебе и приехали, — сказал Гостев Наташе. — Айда к ним, посмотрим, в чем дело...

В зимовье стало тепло. Проценко сидел, нахмурив брови. Наташа перебинтовывала ему голову, а он внимательно следил за ее быстрыми руками.

Потом Наташа растерла шею Геметову. Тот кряхтел и морщился. Когда девушка закутала его шарфом, он одобрительно хмыкнул:

— Молодец ты с нашим братом управляться.

— Велика наука, — улыбнулась Наташа.

Проценко остался верен себе. Он пропел:

Спасибо, сердце,
Что ты умеешь так любить!

Все отчего-то замолчали. Маленькое окошко, наполовину застекленное, а наполовину забитое фанерой, было похоже из-за полукруглой формы на одноглазого волшебника. Сходство это дополнялось тем, что как раз над ним висели ветвистые оленьи рога.

— А не встретить ли нам Новый год? — вдруг спросил Сейфуллин. — Все равно ведь засели.

— Никто не засел, — рассердился Геметов. — Гостев у нас персонаж положительный, ему и ехать в экспедицию. А мы подремонтируемся — и следом.

— Я с Гостевым, Дмитрий Сергеевич, — сказала Наташа, но, увидав потемневшее лицо снабженца, добавила тихо: — Разрешите, пожалуйста...

Геметов несколько раз подряд глубоко задохнулся махорочным дымом, потом потушил цигарку о стол и отшвырнул в угол.

— Неистовая ты, ей-богу...

— Спасибо вам, Дмитрий Сергеевич. Значит, можно?

— Сказал же... Пошли машины перегружать, ребята!

Консервированные фрукты, икру, печенье, бутылки со спиртом, вино и шампанское перенесли в гостевский «ГАЗ», а передвижки и оборудование для электростанции — к Проценко.

Пальцы на морозе стыли. Бутылки с шампанским были скользкие, то и дело падали в снег. Каждый раз, когда бутылка падала, Геметов начинал кричать:

— Что, руки у тебя отсохли, да?! Рак кожных покровов у тебя, да?!

Когда Проценко выронил сразу две бутылки, а Геметов особенно сильно раскричался, Сейфуллин сунул в карманы несколько банок консервов, три бутылки шампанского и пошел в избушку зимовья.

Геметов сначала растерялся, а потом заорал:

— Чего, чего?!

— Я хоть и татарин, — медленно, с расстановкой ответил Сейфуллин, — а Новый год встречаю по-христиански. Ясно? А это, — он хлопнул себя по набитым карманам, — усушка и утруска. Для вашей перестраховки, потому что никто и слова не скажет.

— Ну и жох, — протянул Геметов. — Ладно, черт с тобой, возьми еще и спирта.

«Воронов, любимый мой Воронов, — думала Наташа, перегружая тюки с крупами, — скоро, совсем скоро я увижу тебя...»

Через полчаса все столпились вокруг стола. Геметов раскупорил бутылки. Выпил за счастье

в Новом году. Проценко принес из машины гитару и заиграл «Амурские волны».

Наташа взглянула на часы и сказала:

— Товарищ Гостев, разрешите мне пригласить вас на вальс.

Длинный, нескладный Гостев покраснел.

— Я не умею, — тихо ответил он и спрятал ноги под табуретку.

В печке трещали дрова. В запотевшем окошке отражался тусклый свет переносной лампы. Стены зимовья пахли малиной и вяленой рыбой. Янтарные капельки смолы застыли невыплаканными слезами. Проценко смотрел на девушку грустно, с любовью. Гостев морщил губы. Геметов вспоминал свою дочь Дашку. Сейфуллин в мохнатых унтах, с застывшим лицом танцевал с Наташей вальс. Он держал девушку почти на весу, потому что пол был неровный, со щелями.

Потом Наташа танцевала с Геметовым.

— А я безногий, что ль? — перестав играть, спросил Проценко. Он обхватил Наташу за талию и, сам себе напевая, прошел с ней два круга.

Гостев поднялся, как только Наташа кончила танцевать, нахлобучил ушанку и сказал:

— Ну, пока! Я поехал потихоньку.

И вышел, не дожидаясь девушки.

Глухая ревность кровь пьянит,
Пусть Гостев нас тут не винит, —

сказал вслед ему Проценко.

Наташе стало радостно и весело: она была очень молода и поэтому радовалась всегда, когда чувствовала, что нравится окружающим.

Все вышли провожать их.

— Осторожней, парень, — сказал Геметов, — дорога сам знаешь.

— Чего там...

— Там «чего» нет, — ответил Геметов, не терпевший никаких морфологических неточностей в речи, — вот «ничего» там быть может. Постиг?

Когда машина тронулась, Наташа увидела, как шоферы вынесли переноску и все втроем полезли под проценковскую машину.

«Как же они будут в такую стужу ремонтировать? — подумала Наташа. — Разве мыслимо?»

Девушка закрыла глаза и сразу же увидела Воронова. Она счастливо засмеялась. Гостев недоуменно посмотрел на нее.

Лед вспузырило, как простоквашу.

— Через реку махнем, — сказал Гостев, быстро взглянув на светящийся циферблат часов, — а там до дома пять километров.

— Успеем к двенадцати?

— Должны.

— А Геметов волновался...

— Правильно делал. В тайге без дружбы нельзя.

Наташа не поняла.

— Ну, когда один, — пояснил Гостев. — В тайге одному нельзя, пропадешь зазря.

— Это верно, — согласилась девушка.

— У меня к вам вопрос.

— Какой?

— Вы нашему товарищу Воронову не родственницей будете?

Наташа улыбнулась.

— Нет.

— Странно, — вдруг обрадовался Гостев. — А то мне ваша личность показалась знакомой. У Воронова на столе стоит. Только там значительно некрасивше. Это точно.

Гостев посмотрел на девушку, увидал ее профиль, хотел сказать что-то, но не успел: впереди чернела полынья. Гостев вывернул руль и почувствовал, как у него сразу же вспотели ладони: что-то захрустело так, будто рвали коленкор. Наташа уперлась руками в сиденье, чтобы не удариться лбом о стекло. Передние колеса провалились под лед.

Гостев рванул рычаг коробки скоростей вверх и дал задний ход. В ту минуту раздался треск, но теперь уже с боков. И в кабину хлынула дымная, обжигающая вода.

Наташа вскочила на сиденье. Гостев распахнул дверцу и прыгнул вниз. Через мгновение он прохрипел:

— Давай сюда!

Наташа заглянула вниз и увидала Гостева. Он стоял по горло в воде. Его лицо стало белее снега. Это было так страшно, что девушка зажмурилась.

— Скорей, черт! — заорал Гостев. — Скорей!

Наташа шагнула вниз и почувствовала, как ее подхватили сильные руки шофера. Он держал ее над головой и нес к берегу. Руки у него дрожали, глаза налились кровью, а тело покалывало тысячью иголок, не больно, но противно.

Он добрел до берега и бросил Наташу в снег.

Здесь, у берега, ему было так же, как и около машины, почти по горло. Он начал карабкаться, но лед был свежий, скользкий. Гостев все время падал вниз, в воду. Наташа протянула ему руки:

— Держись!

Гостев взял ее пальцы и, упершись ногами в крутую стенку ледяного берега, начал подтягиваться. Наташа заскользила. Как она ни старалась упираться коленями, снег под ней полз прямо в черную полынью, к Гостеву. Он увидел это. Разжал пальцы. Упал в воду, и брызги, поднятые им, сразу же зазвенели льдинками. Гостев пошел вдоль берега, отыскивая место, где можно было бы выбраться из воды. Он шел, словно ледокол в Арктике: от него отскакивали маленькие льдинки и тонко звенели, сталкиваясь друг с другом.

Наташа бежала по снегу, проваливалась, вылезала и кричала, не переставая:

— Давай руку! Давай руку, Гостев!

Шофер упрямо мотал головой и брел все дальше, к тому месту, где рядом с водой из снега торчала стеклянная ива. Там он вылез и упал в снег.

— Беги вдоль по берегу, — сказал он девушке, задыхаясь, чувствуя, как сердце у него поднималось к горлу. — Беги! Ну!

— Ты что? — испуганно спросила Наташа, увидав, как весь он, на глазах, покрывался хрустящей корочкой льда.

— Что ты?! — закричала девушка, и лес отозвался смешливым, многоголосым эхом.

Когда женщина чувствует, что мужчина — спутник в трудной дороге — слабее ее, она может стать

впереди, она может повести его за собой. Но когда женщина знает силу своего спутника, его мужество, а потом видит его бессильным, не таким, каким привыкла видеть всегда, вот тогда она теряется, становясь только женщиной.

— Беги! — снова прохрипел Гостев. — Вдвоем нам ни к чему...

Наташа заплакала, а потом схватила Гостева за воротник, рванула на себя и с размаху что есть силы ударила его по лицу.

— Не надо, — прошептал Гостев, — больно мне.

Девушка почувствовала, как у нее напряглись мышцы шеи. Она снова схватила Гостева и снова начала его бить по лицу. Потом стащила с него ватник и джемпер. Ватник, хрустнув, сломался. Наташа сорвала с плеч свою куртку и стала втискивать в теплые рукава холодеющее тело Гостева. Наташа застегнула на нем все пуговицы, рванула Гостева на себя и посадила в снег. Он упал. Наташа снова посадила его, а он снова упал. Тогда девушка опять стала бить его руками по холодному лицу, ногами толкать в ребра и живот.

— Больно, — зло сказал Гостев.

Наташа засмеялась радостно: «Больно — это тепло»...

Девушка стащила с себя меховые штаны. Холод сразу же прошел сквозь легкую фланелевую ткань лыжных брюк. Эти брюки ей сшила в Москве бабушка по последней моде: узенькими, с накладными карманами и белой строчкой по швам. Наташа развязывала шнурки у лодыжек и все время следила за тем, чтобы Гостев не упал в снег.

Но он все-таки упал. Наташа подскочила к нему, схватила за руки и принялась разводить их в стороны, стараясь разогреть Гостева. И вдруг Наташа подумала: «Ведь в машине спички и спирт. Это спасение!»

Она оглянулась на полынью, на машину, которая врастала в лед, на стеклянную иву у берега, на долговязого человека с белым лицом, который только что спас ее, и побежала к реке.

— Стой! — закричал Гостев.

Ему показалось, что кричал он зычно и громко. А на самом деле он свистяще шептал:

— Стой! Стой, Наташа! Стой!

Девушка бежала по льду. И тогда он поднялся. Как пьяный, раскачиваясь из стороны в сторону, Гостев пошел следом за Наташей. И чем дальше и быстрее он шел, тем больше чувствовал в себе силу, которая победит холод.

Сейфуллин, Проценко и Геметов лежали под машиной на тулупе. Геметов светил переноской, а шоферы лихорадочно кончали ремонт. Решили сделать одну проценковскую машину и на ней привезти в партию кинопередвижки и движок, чтобы в новогоднюю ночь у людей был свет.

— Да, — продолжал Сейфуллин, усмехаясь, — посмеются над нами, как нагрянем. Я, между прочим, очень обожаю консервированные сливы с манной кашей. Вернемся — две банки съем.

— Так я тебе две банки и дам! — возразил Геметов.

— А за героизм?

Все засмеялись. Сейфуллин торопился, поэтому гаечный ключ то и дело соскакивал с пробки маслобака.

— Черт, — сквозь зубы сказал Сейфуллин и выругался.

«Товарищ, я вахту не в силах стоять»,
Сказал кочегар кочегару, —

простонал Проценко и закончил прозой, которую так презирал: — Башка, ребята, лопается.

— Потерпи, браток, — попросил Геметов, — немного уж осталось.

Проценко крякнул и снова, как фотограф в темный мешок, запустил руки в мотор. Стараясь хоть чем-нибудь помочь шоферам, Геметов начал рассказывать смешные анекдоты.

«Хороший какой мужик, — подумал Сейфуллин, — беспокойный и заботливый...» Он посмотрел на снабженца и улыбнулся ему. Тот сморщил лицо и сказал:

— Неспокойно у меня на душе за наших. Просто черт знает как скребет. Не надо было их одних пускать. Пропади это шампанское пропадом!

Проценко довернул гайку, бросил ключ и сказал:

— Все. Поехали!

Воронов проснулся оттого, что в дверь громко стучали ногами. Он нашел рукой очки на тумбочке, быстро надел их и крикнул:

— Кто?!

— Я, Геметов.

— Молодец, старина! — засмеялся Воронов, натягивая джемпер.

— Да скорей откройте! — крикнул Геметов.

Воронов босиком подбежал к двери, откинул щеколду. В комнату вошел снабженец. На руках у него лежала белая Наташа. Воронов отступал, пока не сел на кровать.

— Пустите, — попросил Геметов, — я ее положу.

Воронов встал, взял у него из рук девушку и, склонившись над ней, спросил:

— Наташа, Наташка, ты слышишь меня?

Девушка открыла глаза, узнала Воронова и заплакала.

— Ну, с Новым годом вас! — сердито сказал Геметов. — А я пошел Гостева спиртом лечить. Поморозился парень. Да, товарищ Воронов, гречку сейчас раздавать или вместе с рыбными консервами? Я трески привез...

Воронов не слушал его. Он смотрел в Наташино лицо неотрывно, жадно. Геметов покачал головой. Пошел к двери и уже с порога сказал:

— А подруга ваша — девка что надо.

...Стрелки маленького будильника показывали половину третьего. Новый год пришел, а с ним пришло счастье...

О моей поездке к геологам в нашей газете было напечатано совсем немного. На третьей полосе, в нижнем левом углу, петитом было набрано:

«Трудна работа геологов. Только за последние два месяца в районе р. Сумары обнаружено три крупных алмазных месторождения. Поиски велись под руководством старейшего сибирского поисковика И. М. Алаторцева.

В восьмистах километрах севернее Сумары экспедицией Н. В. Воронова открыта алмазная трубка. Поиски продолжаются...»

ЛАХМЕ ВЕРНЕТСЯ В 8.00

I

Лахме посмотрел на крючок и улыбнулся: червяки извивались, как танцовщицы.

«На таких красавцев нельзя не клюнуть. Обязательно клюнет. Франц сказал, чтобы я принес камень в мешке. Так я и принесу камень! Жди! Я принесу десять форелей. Больших, жирных, с нежным красным мясом. И с черно-синими крапинками по бокам», — думал Лахме, продолжая неторопливо курить. Потом он затушил сигарету, поплевал на нее и спрятал в мокрый мох. Под-

нялся. Отогнул отвороты резиновых сапог и, высоко поднимая длинные тонкие ноги, начал спускаться с пригорка, поросшего сухим ельником, на луг.

— Камень мне в мешок, — проворчал Лахме, — ничего я не поймаю. Мошки много, река обмелела, черви плохие и рыбак дурной...

Он проворчал это заклинание потому, что до речушки осталось метров пятнадцать. Роса еще не выпала, но Лахме все равно поднимал ноги высоко и ставил их в жирную, пружинистую землю тихо, осторожно — с носка на пятку.

«Все русские рыбаки хитрые,— думал Лахме, — это они меня выучили подходить к реке. Я раньше шел шумно, и травы сгибались под сапогами. А теперь я крадусь, как лис. Вон, русский рыболов, он всегда говорит, что цыган на кнут ловит, потому что к воде на брюхе ползет...»

Лахме взглянул на солнце. Теперь оно освещало верхушки деревьев снизу. От этого кроны сделались золотыми, а стволы черными. Небо становилось с каждой минутой все более высоким и бесцветным. Только легкие перистые облака на востоке стали розовыми.

— Ой-ой, — оглядев небо, прошептал Лахме, — не успею я так...

2

А ему обязательно надо было успеть. Лахме — директор маленького дома отдыха на севере Эстонии. Дом отдыха открыли пять дней тому назад.

Приехали первые двадцать человек. Все было хорошо до вчерашнего утра. Но вчера хлестнул шалый ливень, и маленький временный мост, построенный специально для того, чтобы связать дом отдыха, стоящий на островке, с шоссе, зазыбился, а потом и вовсе ушел под воду. Машина с продуктами, шедшая из Таллина, постояла около моста и вернулась в город: переправиться не было никакой возможности.

Узнав об этом, Лахме почернел лицом. Когда он сердился, глаза у него делались испуганными, а рот исчезал в морщинах.

Франц, повар дома отдыха, сказал Лахме:

— До завтра я продержусь, а потом есть будет нечего.

— Ой-ой! — сказал Лахме. — Вот плохо-то, а?

— Да, — согласился повар Франц, — совсем плохо.

— Может быть, завтра ты зарежешь своих кур?

— Тогда послезавтра меня зарежет жена.

— Ты думаешь?

Повар Франц ничего не ответил, а только вздохнул.

— Если бы у меня были куры, — сказал Лахме, — я бы зарезал. Но ты ведь знаешь, я один. Как перст.

— Да, — повторил повар Франц, — вы один, совсем один.

— Я, пожалуй, еще раз позвоню в Раквере. Потороплю с мостом.

— Так они же обещали сделать послезавтра.

— Ой-ой, — сказал Лахме и полез за сигаретами, — дело совсем дрянь, а?

— Может быть, вы сходите к рыбакам? Я бы сварил уху. Все любят уху.

— Ладно, — сказал Лахме, — я сейчас пойду к рыбакам.

3

— Разве мыслимо, Арно? — спросил Лахме председатель колхоза «Рахве тэе» Эндель Хэйнасмаа. — Посмотри на море.

Лахме посмотрел на море. Оно было пенным, серым, отчаянно злым. Море всегда бывает злым перед штормом. А после — ласковое. Сразу после шторма море делается черным и гладким, как стекло. Только чайки, сидящие на воде, кажутся застывшими гребнями белых волн.

— Да, — согласился Лахме, — море совсем плохое.

В комнате у Хэйнасмаа пахло дегтем и копченой салакой.

— Я бы рад помочь тебе, Арно, — сказал он, — но ты сам видишь. Нельзя же гнать людей на риск. Хочешь, я продам тебе маринованных килек?

— А у тебя к ним есть минеральная вода или пиво?

— Нет. У меня нет ни пива, ни водки.

— Я сказал — воды.

— Да, правильно, воды. Я забыл, что ты трезвенник.

Погода менялась. То начинался дождь, то вдруг выглядывало солнце, необычно жаркое в такую пасмурную погоду. А потом снова приносило облака, и солнце исчезало.

— Значит, твои отдыхающие попали в блокаду?

— Да.

— А они должны прибавлять в весе, не так ли?

— Конечно.

— Хорошенькие девушки есть?

— Нет.

— Плохо. Наверное, взгреют тебя, Арно, за этот голод?

— Наверное.

— А почему, собственно, тебя? — возразил сам себе Эндель Хэйнасмаа. — За это должны взгреть дорожное управление.

— Может быть.

— Про девушек я спросил для наших ребят. Им негде танцевать. И не с кем. Все наши девушки в городе — тут им нечего делать. Теперь ведь женщины не ловят рыбу.

— Да, не ловят.

— Ладно, Арно, — сказал Эндель Хэйнасмаа, — не тужи. Все пройдет. Шторм пройдет, голод пройдет, мост отстроят. Ничего. Ничего страшного. Ты всегда все чуточку преувеличиваешь. И зря понапрасну нервничаешь. Знаешь, в наш век нельзя нервничать. Так говорят все врачи, а какой им резон врать? Так что, Арно, я бы рад тебе помочь...

— Я понимаю.

— Будь здоров, Арно.

— Будь здоров, Эндель.

— Франц, — сказал Лахме повару, возвратившись от Энделя Хэйнасмаа, — сейчас хорошая погода для рыбалки на реке. Там ведь нет шторма. Я пойду на Пэрэл. Может быть, принесу форель.

— Одну штуку?

— А может быть, и ни одной. Сколько нужно принести форелей, чтобы сделать уху на двадцать человек?

— Десять штук. Килограмм на восемь.

Лахме достал пачку сигарет, закурил.

— Пожалуй, я возьму со склада сапоги? — спросил он Франца. — Как ты думаешь?

— Вы же директор.

— При чем тут директор... Просто мои совсем прохудились, а мне придется много ходить сегодня и завтра.

— Вы же директор, — упрямо повторил повар Франц и отвернулся к окну.

Через открытую форточку донесся смех из бильярдной. Наверное, отдыхающие заставляли кого-нибудь лезть под стол за проигрыш.

— Скажи своему племяннику, — попросил Лахме, — чтобы он завтра же пришел и перебрал как следует нитки в лузах. А то нитки дрянные, могут порваться к концу лета.

— Так то же к концу лета...

— Передай племяннику то, что я сказал. Он хорошо заработает.

— Здесь каждый хорошо заработает... Нитки перебрать...

— Сделай сам.

— Зачем же? Вы ему велели прийти, пусть он и делает.

— Сделай сам, — повторил Лахме.

Повар Франц вздохнул и сказал:

— Только вы завтра к утру приходите обязательно. А то отдыхающие из меня сварят уху.

— Да, я прийду к восьми утра. Но уху ты будешь готовить на обед и ужин, если я поймаю форель. На завтрак сделай макароны. Я договорился с Хьюрио — она принесет килограмм масла. И отвари яиц.

— У нас осталось пятнадцать штук.

— Пять принесешь из дома.

Лахме выжидающе посмотрел на повара Франца. Тот снова отвернулся к окну и вздохнул.

— Значит, я пошел, — сказал Лахме.

— Камень вам в мешок.

— Иди к черту.

Когда Лахме поднялся из-за стола, повар Франц кашлянул и сказал:

— Я передам племяннику, чтобы он перебрал нитки в лузах.

5

Лахме еще раз оглядел крючок, подтянул к себе леску и, затаив дыхание, остановился. Здесь, около кустов, речушка начинала делиться на две друг на друга непохожие части. У противоположного берега течение было стремительным, вода прозрачной, дно каменистым. Последние лучи

солнца лежали на камнях, пробившись сквозь воду белыми круглыми пятнами. Около того берега, на котором затаился Лахме, течения вообще не было. Здесь была яма. Черная тяжелая вода резко граничила с прозрачной водой противоположного берега. Граница проходила прямо посередине речушки.

«Здесь нет кордонов,— подумал Лахме, — а как точно соблюдается граница!»

Белая пена, похожая на шоколадный мусс, недвижно лежала у берега. В этой пене были щепки, желтые листья и тоненькие ветки ивы.

Лахме долго смотрел в воду, прищурившись. Ни на перекате, посредине речушки, ни у противоположного берега рыбы не было. Дно просматривалось отчетливо, как через увеличительное стекло, перевернутое наоборот.

«Хотя во-он та коряжка, — подумал Лахме, — она уютная, та коряжка, там может сидеть форель. Там ему удобно, он видит оттуда всех, кто плывет по течению».

Коряжка у противоположного берега выступала почти до середины реки и кончалась, упираясь в камни. Все это отчетливо просматривалось потому, что глубина там была всего сантиметров сорок, не больше.

Лахме освободил катушку, на которую была намотана леска. Отвел правую руку до отказа назад, осторожно придерживая большим пальцем катушку, а левой рукой, раскачав, бросил крючок в стремнину...

Лахме прошел вверх по речушке еще четыре километра. За это время он взял две форели.

«Хорошо, — думал Лахме, опуская рыбу в холщовый мешок, одетый через плечо, как скатанная солдатская шинель, — это уже хорошо. Можно считать, что я накормил ухой пять человек. А может быть, и шесть».

На луг пала роса. Она сделала высокие травы атласными: по яркой зелени шла перламутровая изморось. Солнце спряталось за лес. Как напоминание о нем над лесом лежала желтая полоса.

Вместе с белым, невесомым туманом от луга поднималась ночная, влажная прохлада и где-то на уровне лица Лахме сталкивалась с дневным, жарким воздухом. Именно на этом уровне вокруг головы Лахме кружились мухи и мошкара. От этого его голова была словно в ореоле. Мошка гудела монотонно, как телеграфные провода.

«Мошка и мухи чуют будущих покойников», — вдруг вспомнил Лахме слова своего друга Миллера. Они вместе дрались с фашистами в эстонском корпусе. Под Псковом, на разведке, они лежали втроем: Миллер, Эндель Хэйнасмаа и Лахме. Эндель Хэйнасмаа был тогда совсем мальчишкой, не то что сейчас — председатель. Был такой же, как и сейчас, предвечерний час, и такая же первозданная тишина и спокойствие плыли над лесом, и лес был такой же, и луг почти совсем такой же: с яркими красными и синими цветами. Мошка и мухи вились над головой Миллера. Он бодался, как бык, но мошка по-прежнему висела над ним зудящим облаком.

— Как ты думаешь, Арно, — спросил тогда Миллер, — мухи чуют будущих покойников?

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Так...

— Ну, тогда я тебе отвечу: нет, мухи не чуют будущих покойников.

Эндель Хэйнасмаа придвинулся к Лахме и заглянул ему в лицо расширившимися от ужаса глазами.

— Пошли, пожалуй, — сказал Миллер.

И они поползли дальше. Они в тот раз взяли «языка». Он был из саперной части. Он обложился от страха и все время икал. Когда переползали линию фронта, Миллер полз первым, а Лахме, пропустив Энделя Хэйнасмаа и пленного, полз последним с гранатами и автоматом. Миллер взорвался на мине, когда до наших окопов осталось метров двести, не больше. Немца оглушило, Энделя Хэйнасмаа контузило, а Лахме только засыпало землей.

— Ерунда, — вдруг сказал Лахме, насаживая новых червей, — все ерунда. Никакие мухи ничего не чуют. Просто надо быть осмотрительным и никогда зря не торопиться. Надо было ему щупать руками землю: если очень рыхлая или, наоборот, очень твердая, — обползи. Землю, под которой зарыта мина, всегда можно почувствовать. Человек хитрит, чтобы убить врага, а хитрость всегда заметна. Особенно на земле. Земля ведь не терпит хитрости.

Лахме насадил червей, подкрался к реке и забросил крючок.

Бульк!

«Хорошая яма, — подумал Лахме, прислонившись к дереву так, чтобы ему было видно поплавок из-за ветвей. — Ну, форель, смотри внимательно: сейчас я начну водить крючок. Вот так, не быстро, спокойно. Ну, что же ты? Ничего, у меня есть время, я подожду. А ты здесь сидишь, это точно, что ты сидишь здесь, в этой яме...»

8

Жена Лахме Элза погибла, когда эвакуировали Таллин. Пароход, на котором она плыла в Ленинград, сгорел. Спасся только один парень, но он сошел с ума на берегу, когда его повезли на расстрел бандиты. Говорят, он все время кричал:

— Я не комсомолец!

А они смеялись и говорили:

— Значит, ты еврей.

— Нет! — кричал паренек и рвал свой рот обгоревшими, солеными пальцами.

— Все равно — ты сволочь. Ты плыл на красном корабле!

— Ладно, — сказал тогда парень и засмеялся, — стреляйте!

И он стал танцевать кадриль. И его убили.

Этот парень был сыном Лахме, Энно. Ему было семнадцать лет, он заканчивал класс в балетной школе.

Жена, когда собирала Лахме на рыбалку, делала ему бутерброды с курицей и с огурцами. Она клала их в гуттаперчевый пакетик. На пакетике

эла сама нарисовала большую рыбу. Один глаз у рыбы хитро подмигивал, а рот кривила злая улыбочка.

Возвращаясь домой, Лахме ставил сумку с рыбой перед дверью, нажимал кнопку звонка и сбегал на несколько ступенек вниз.

Элза открывала дверь, брала мешок и дверь сразу же захлопывала. Лахме снова поднимался и скребся в дверь, как кот.

— Кто там и что вам надо?— спрашивала Элза. Потом она распахивала дверь и бросалась к Лахме. Он целовал ее и сразу же начинал рассказывать о рыбалке. Она всегда смеялась, когда Лахме рассказывал о своем друге и всегдашнем спутнике Лыппе. Лыпп был страховым агентом, старым буршем и рыболовом. Он был почти вдвое старше Лахме и знал наизусть всего «Калевипоэга». Каждый раз, когда он раскладывал костер, Лахме готовился к тому, что Лыпп откинется на руки, закроет глаза и начнет читать о Калеве. И Лыпп всегда читал о Калеве. Он почти никогда не привозил в город рыбы, потому что все время смотрел по сторонам, радовался восходам и заходам солнца, вечерней и утренней прохладе, радовался пению весенних громкоголосых птиц и сам подпевал им, а форели, услыхав голос человека, разбегались, уходили под коряги.

Лыпп умер три года тому назад. Перед смертью он прислал Лахме телеграмму. Лахме приехал к нему из Таллина. Лыпп увидал его и заплакал: они не встречались с сорокового года.

— Прощай, Арно,— сказал Лыпп.

— Ерунда, — ответил Лахме, — что за глупости ты говоришь.

— Возьми мой спиннинг, мои удочки и снасти, — попросил Лыпп.

— Оставь свой спиннинг и удочки в покое. Через неделю мы пойдем с тобой за форелью.

Лыпп заплакал и сказал:

— Арно, если ты их не возьмешь, будет очень плохо, пойми. Внук ловит форель сетями. Понимаешь? Они ночью ставят сеть у порогов, а утром берут форель и везут ее на базар. Зачем же ему мои удочки и мой спиннинг?!

Лыпп умер через день. Лахме забрал его удочки и спиннинг и поставил их в своей гулкой, аскетически чистой таллинской квартире под портретом Элзы. А ловил рыбу, когда выдавалось свободное время, своими удочками и своим спиннингом.

«Ну что же ты так долго, форель? — вздохнув, спросил Лахме и снова осторожно повел на себя поплавок. Воду тронули вкрадчивые, безнадежно ровные круги. — Смотри, смотри внимательно, форель! Видишь, какие прекрасные черви плавают перед твоим носом, а? Ну, давай, решайся!»

Но форель так и не решилась. А может быть, ее и вообще не было в яме.

7

— Ой-ой, — сказал Лахме и поднялся с дерева, около которого ему так хорошо и спокойно стоялось. — Совсем темно, а?

Он помассировал спину, а потом осторожно вы-

тащил крючок из воды. Лахме впервые за весь вечер взглянул на часы, потому что солнце зашло и никак иначе время нельзя было узнать. А вообще Лахме никогда не смотрел на часы во время рыбалки. Он узнавал время по окружавшему его миру.

Лахме поднес циферблат к глазам и увидал, как светящиеся стрелки показывали двенадцать часов.

Лахме заторопился. Вечерний клев уже кончился полчаса тому назад, а поймал он за вечернюю зорьку всего две рыбы. Лахме откусил крючок, спрятал его за ленту шляпы и полез в задний карман: там в плоской коробке из-под фруктовых конфет лежали самодельные блесны. Одна из латуни, а другая из хромированной стали с чеканной насечкой.

Привязав латунную блесну, Лахме пошел еще выше по течению, к порогам. Он шел, широко размахивая руками, ничуть не заботясь о том, чтобы не шуметь. В этой излучине форели не было, он знал точно. Откуда же здесь быть форели, если сюда приходит помощник лесничего со своей женой косить траву? Форель не станет жить там, где косят. Ведь трава шумит, падая. Это похоже на солдатский шаг: «раз! раз! раз!» А потом люди точат косы, и от этого в пойме стоит звон, как будто кавалеристы точат клинки. А форель не любит, когда звенит металл, становясь острым. Когда металл делается слишком острым, тогда начинают рваться мины. Они поднимают со дна тину, бьют в жабры тонкой клейкой жижей, от которой со-

всем нельзя дышать. Нет, форель не любит, когда звенит металл и поют песни. Форель любит прохладу быстрых, порожистых перекатов, когда мелко, когда солнце греет спину, а брюшко щекочет мелкий песок и камни, поросшие зеленью. Форель любит, порезвившись на перекатах, уйти в ямы, под коряги и там ждать утра, когда придет молчаливое солнце и сделает реку звенящей и радостной.

Нет, форели не было здесь, Лахме это знал точно, и поэтому он шел, волоча ноги по мокрой траве. За ним оставался белый дымный след.

К порогам Лахме пришел через сорок минут. Пороги были расположены как лестница, сделанная специально для сердечных больных: покато, спокойно. Сверху вместе с водой несся сдержанный гул, вместе с которым по реке клубилась белая прохлада. Там, где вода разбивается о камни, всегда прохладно. Даже в жару.

«Вроде здесь, — подумал Лахме. — В прошлом месяце я видел здесь форель килограмма на два».

Лахме начал подкрадываться к маленькому затончику, отходившему от самого порога.

«Это я правильно сделал, что взял блесну, — подумал Лахме. — Я приманю его на золото, как ростовщика».

Лахме всегда латунь называл золотом и где-то в глубине души предпочтение отдавал латуни: она казалась ему более нарядной.

Бульк!

Блесна шла по стремнине, образовавшейся после падения воды, петляла между камнями, иногда, поворачиваясь особенно быстро, загоралась маленьким костром и мгновенно гасла. Вдруг Лахме почувствовал тяжесть в той руке, которой он страховал леску. Он перестал заматывать катушку.

«Нет, это камень,— решил он, — просто блесна зацепилась за камень, не иначе. Или, может быть, за коряжку. Если бы взял форель, так он стал бы сейчас водить меня, прыгать по камням. Нет, конечно, это камень...»

Лахме забросил блесну еще раз. Так он бросал блесну раз пятьдесят. Он решил, что форель не хочет брать блесну, и решил уж было сажать снова червя, но в этот миг почувствовал, как леска натянулась. Он даже почувствовал это еще перед тем, как леска натянулась. Рыбак чувствует удачу на мгновение раньше самой удачи. Лахме стал быстро, но плавно и осторожно наматывать леску на катушку. Но он чувствовал, что рыба попалась не та, которую он ждал. Лахме увидал маленькую форель. Совсем маленькую, как окунь в озере. Лахме поймал форель и осторожно вытащил из губы один крючок из трех. Форель попалась только на один крючок, к счастью.

Перевернув форель, Лахме легонько шлепнул ее пальцем по белому брюшку.

— Ну куда ты лезешь, дурачок? — спросил он. — Больно, знаю, что тебе больно. Подожди, не трепыхайся, этим ты горю не поможешь. Ну подожди же? Сейчас!

Лахме подкрался совсем близко к берегу и пустил форель в реку.

– Он совсем маленький, — сам себе сказал Лахме, — пусть растет. Я с ним сражусь в будущем году.

8

Костер разгорался слабо. Дым то клало на землю, то заваливало, то вздымало высоко в небо шальным ветром, который дул не так, как положено ветру, — в каком-нибудь одном направлении, а налетал на огонь со всех сторон.

Лахме положил вокруг костра сухих еловых веток и сел, тяжело подломив ноги, на подушечку, которую он приготовил себе из мха.

Лес стоял безмолвно. Лес слушал, как потрескивал костер. В лесу тоже поднимался туман от земли — как от реки и от луга. Только здесь, в лесу, он был совершенно неосязаем. Он казался марлей, натянутой где-то далеко за деревьями. От этого те деревья, которые стояли поблизости, были отчетливо видны, а те, что росли в низине, — расплывчато, контурно. Лес казался декоративным и слишком многозначительным. Он словно так и хотел, чтобы кто-нибудь сумел попросить его поведать свои тайны. Ведь каждый лес хранит много тайн, куда больше, чем луга или даже реки.

Лахме вспомнил Котова. Котов был доктором госпиталя на 1-м Белорусском. Он был толстый, этот Котов, а звали его Ильей. Котов любил петь. Пел он всегда одну и ту же песенку:

Жизнь такая нужна мне,
Чтоб облегчить душу,
И хожу я по земле,
По воде и суше.
Сплю — а звезды надо мной!
Хлеб макаю в реку.
И не надобно иной
Жизни человеку.

Котов говорил Лахме:

«Когда я жил у партизан, в лесу, я ужасно трусил. И я не фашистов боялся, что вокруг, честное слово. Я боялся леса так, что у меня дрожали руки перед операциями, когда я видел в окне избы огромные лапищи сосен. Я люблю жить в степях. Там душе простор, песне простор, в степях хлеб растет,— пойди-ка в лесу его вырасти!»

Котов любил говорить с Лахме, потому что тот никогда не расспрашивал о своей болезни и умел слушать, не влезая со своими рассказами...

Достав из старой полевой сумки три картофелины и булку, Лахме еще ближе придвинулся к огню. Он разбросал сучком головешки и засыпал ими картофелины. А сверху головешек насыпал мягкой теплой золы. Потом, разломив хлеб, стал жевать, запивая теплой водой из фляги. У воды был привкус, — а Лахме любил ключевую воду. Он поднялся, выплеснул остатки воды из фляги и пошел к реке. Он вышел из леса и замер: у берега стоял лось, высоко подняв голову. Лахме показалось, что у лося голова такая же седая, как и у него самого. Только у лося было поджарое, мускулистое тело — стремительное и могучее. Лось стоял недвижно и прислушивался: где-то у поро-

гов кукушка отсчитывала годы жизни. Кукушка отсчитала шесть раз и смолкла, а лось по-прежнему стоял, высоко подняв свою гордую голову, прислушиваясь. Потом он вздохнул — шумно, совсем по-человечески.

Лахме долго любовался животным. Потом Лахме неловко переступил, и под ногой треснул сучок. Лось спокойно обернулся и увидел человека, стоявшего на опушке леса.

«День умер, — подумал Лахме. — И лосю страшно, поэтому он не уходит, а смотрит на меня. А когда страшно, всегда появляется жажда. Поэтому животные пьют ночью. И еще хорошо, когда страшно, не быть одному».

Лахме пошел к реке. Лось повернулся и неторопливо направился к лесу. Он подошел к опушке, постоял, опустив свою седую голову, потом снова вздохнул и спустился на луг. Постоял и пошел к порогам: там стоял гул, там не было безмолвия.

«Почему же он не вошел в лес? — подумал Лахме, набирая воду в флягу. — Чудак какой. Там нет холода, который поднимается от реки. Там тепло скрыто даже в смоле деревьев. А может быть, прав Котов, когда он говорил, что лес — это зловеще. Ведь Котов прав, когда говорил, что в лесу можно заблудиться и погибнуть, а в степи — никогда».

Лахме поднялся с колен, завинтил крышку фляги, ставшей вдруг ледяной, даже через зеленое сукно, которым она была обернута, и пошел назад, к костру. Он видел, как в том месте, где

он расположился, голубая тоненькая струйка дыма тянулась вверх, в холодное предрассветное небо.

Вернувшись к костру, Лахме откопал картошки и съел их, запивая сладкой, студеной водой. Потом он лег совсем близко к огню. Все тело гудело тяжелой, блаженной истомой.

«Радость-то какая,— подумал Лахме, вслушиваясь в звенящую тишину леса. — Нет больше радости, чем эта».

В предрассветные часы полного одиночества Лахме чувствовал свое бессмертие. Он знал, что затаившийся лес, река, луга, пьянящие своими запахами, — все это растворено в нем, в Лахме, так же, как и он растворим во всем, окружавшем его.

Лахме вспомнил, как в прошлом году, с трудом встав после тяжелой болезни, он пришел в ЦК и сказал:

«У меня за спиной десять лет подполья, пять лет каторги и семь лет драки — в Испании и у нас, в Союзе. Я дрался за то, чтобы о людях заботились и чтобы все говорили друг другу: «Здравствуй, товарищ». Теперь у меня два инфаркта. Я сижу в министерстве, езжу на машине и по чину руковожу многими людьми. А я прошу: дайте мне лучше позаботиться о немногих, о нескольких людях, чтобы я видел их улыбки и радость. Потому что я видел в своей жизни слишком много горя и слез».

Лахме установили персональную пенсию и назначили директором этого маленького дома отдыха.

«Ой-ой, — подумал он, подвигаясь еще ближе

к костру, — как же быть завтра? Хотя Эндель Хэйнасмаа говорил, когда мы вместе дрались в конной разведке эстонского корпуса: «Когда положение не ясно — надо побольше спать». Это он говорил для вида, сам он никогда не спал, когда положение было не ясным. А теперь, когда стал председателем, перестал говорить про сон. Он всех у себя в колхозе призывает к бодрствованию. «Коммунизм, говорит, проспите!»

Лахме улыбнулся, и улыбка сделала его лицо мягким и старым.

Снова кукушка начала считать годы чьей-то жизни, и снова Лахме прислушался, чего-то страшась и на что-то надеясь...

9

В дом отдыха Лахме вернулся к восьми часам утра, как и обещал. В сумке у него было четыре форели весом в два с половиной килограмма.

Повар Франц сидел на крыльце и грыз ногти. Из кухни несло запахом раскаленной плиты. Больше никаких запахов не было.

— Плохо, — сказал повар Франц, осмотрев улов, — ничего не получится.

— Да, — согласился Лахме, — пожалуй.

— Что же делать?

— Что делать? — переспросил Лахме. — Сейчас придумаем, что делать.

Он посмотрел на свежевыкрашенное здание дома отдыха, еще не ожившее звоном голосов, на водокачку, на маленький домик клуба и сказал:

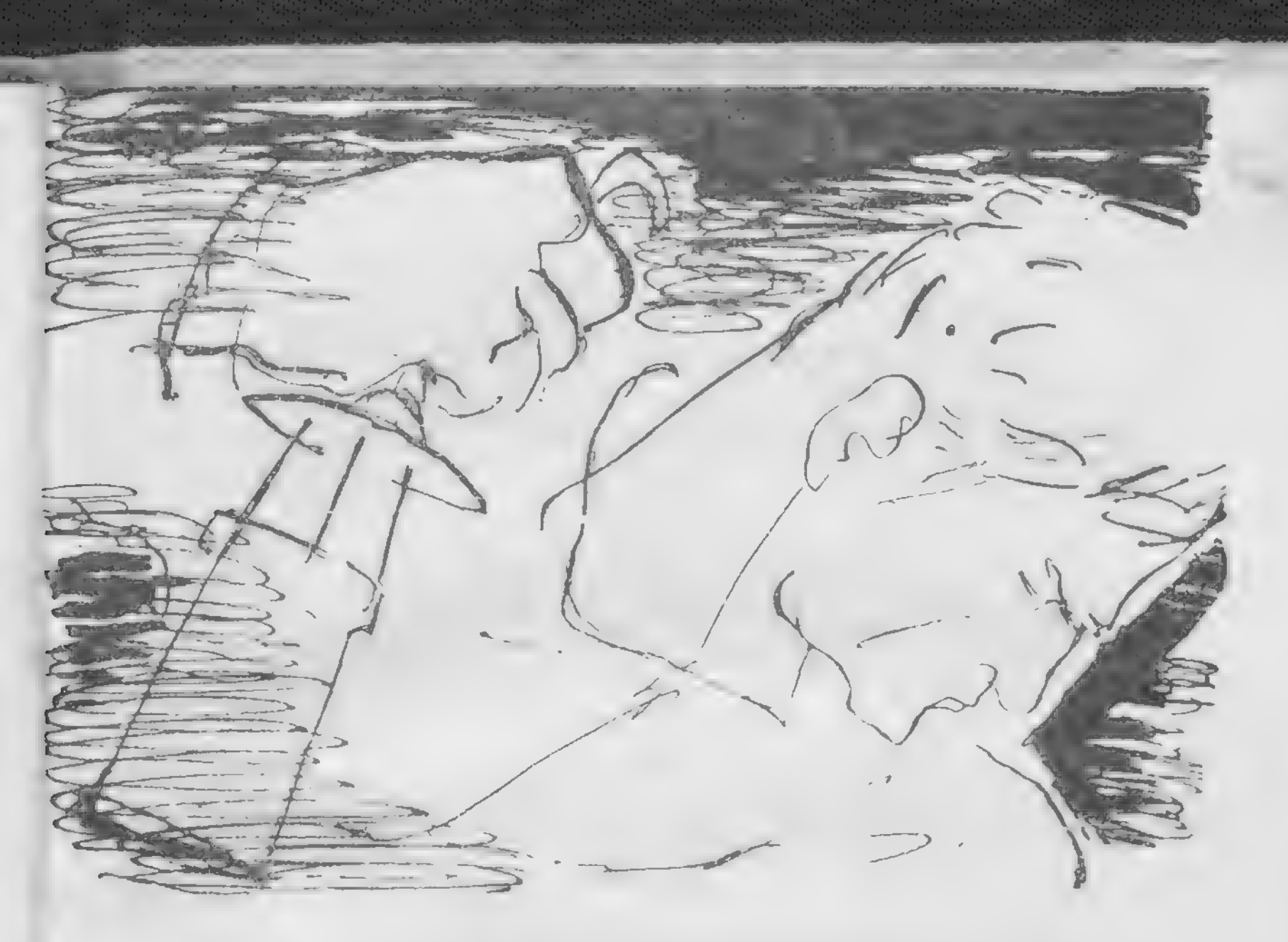
— Во-первых, ты сейчас же отправишься домой и зарежешь семь кур. Все. Не спорь со мной. Деньги получишь в кассе, как только приедет кассир, а жену пришлешь для объяснений ко мне. Во-вторых, я пойду к Энделю Хэйнасмаа и задам ему палку, чтобы он не был трусом и не оставлял в беде моих отдыхающих. В-третьих, соединюсь сейчас же с Раквере...

Лахме не договорил. В воротах стоял Эндель Хэйнасмаа, улыбавшийся во весь рот.

— Эй! — крикнул он. — Не надо нервничать! Ты всегда нервничаешь зазря, Арно! Я привез тебе двести килограмм салаки.

Лахме пошел навстречу Энделю Хэйнасмаа. Обернувшись, он сказал повару Францу:

— И все-таки пойди и зарежь семь кур. А то в меню одна рыба. Думаешь, это очень вкусно, а?



ПЯТЕРО В БЛОКЕ

Бригадир Строкач спускался в рудник уже шесть лет, с тех пор как демобилизовался. И с первого дня у него вошло в привычку, спускаясь в рудник, смотреть через прутья плети на фанерный потолок копра. Фанерный потолок взвивался вверх так же стремительно, как клеть падала в глубину. Строкач очень любил смотреть на то, как взвивался фанерный потолок. Но когда темнота обступала клеть со всех сторон — и сверху, и снизу, и с боков, — он всегда вздыхал, словно конь. Стро-

кач, вздыхая, морщил лицо, на котором зло торчали ершистые черные брови и длинный мясистый нос.

В тот день Строкача вызвал начальник отдела кадров и сказал, ткнув пальцем в высокого сутулого парня:

— Этот к тебе.

Парень улыбнулся Строкачу и сказал:

— Здоров, товарищ бригадир.

В клети парень лихо зацепил карбидку за пояс, вынул папиросы, закурил и, широко расставив ноги, спрятал руки в карманы спецовки.

— Возьмись за потолок, — сказал Строкач, — качнет — опахало испортишь.

— Переживу.

— Дурак.

— Мама не замечала.

— Теперь заметит.

Парень весело рассмеялся.

— Бригадир, — сказал он, — я в шахту третий год лажу. Только раньше я на угле был, а теперь к золотишку перебрался.

Клеть ухнула вниз. Она обрушивалась стремительно и с визгом, то и дело цепляясь за какие-то выступы в стволе шахты, и от этого раскачивалась, как люлька. Люди держались за поручни на решетчатом потолке клети, подняв руки, и поэтому были похожи на пленных. Один только новенький стоял, не поднимая рук, и курил.

— Зовут-то как? — спросил его бурильщик Андрейка.

— Меня?

— Нет, начальника рудника...

— А...

Клеть пронеслась мимо сто пятнадцатого квершлага, и яркий свет ударил парня по лицу. Глаза у него были зеленые, а рот — яркий, резкий, прямой.

— Меня зовут Толиком, — ответил он, когда клеть снова погрузилась в темноту.

— Толиком? — переспросил старик Ермоленко, дорабатывавший последний год до пенсии. — Ласково тебя, однако, зовут.

— А я ласку люблю, она мне сердце топит.

Андрейка засмеялся.

— А фамилия-то как? Ты наш, здешний, или в приезде?

— В приезде. Фамилия мне Петухов.

— Хорошая фамилия, — убежденно сказал толстый Сытин и вытер со лба пот. Он всегда потел, спускаясь в клети. Сытин был голубятником, а ни один голубятник не скажет плохого слова о петухах или гусях.

Клеть завизжала, задергалась и стала. Люди выскочили на площадку, запалили карбидки и, растянувшись в цепочку, пошли по рельсам к люку. Откинув крышку люка в сторону, они начали спускаться по узкому пятидесятиметровому колодцу в блок номер семнадцать. Там они разрабатывали золотоносную жилу.

Первым в колодец залезал Строкач. Он спускался по лестнице быстро, по-обезьяньи. Его люди лезли тоже быстро. Петухов спускался последним, пятым по счету.

— Эгей! — окликнул его Строкач. — Толик! Как ты там?

— Лезу, — ответил тот, — ничего...

— Смотри...

— Не выходит.

— Что?

— Не выходит смотреть-то, электричества нету.

В блок люди спустились через пять минут. Блок был похож на большой зал с неровным, плохо подметенным полом. Когда Строкач спустился в блок впервые, ему сразу же вспомнился пол в краковской библиотеке. Во время боев за город Строкач ворвался в гулкое, пустое здание библиотеки: ему показалось, что сюда юркнули двое в черном. На полу валялись битые кирпичи и штукатурка с потолка. Книги тоже валялись на полу вперемешку с камнями. Среди книг лежал седой старик в черных нарукавниках. Его голову подпирал старомодный воротничок. Глаза у него были пустые, а лицо — исклевано. На стеллажах сидели жирные вороны. Они сидели на пустых стеллажах и, нахохлившись, смотрели на Строкача. Строкач стоял посредине огромного зала в гимнастерке, вымазанной красной кирпичной пылью. Он долго смотрел на мертвого старика и на жирных черных ворон. А потом поднял к животу автомат, зажмурился и выпустил несколько коротких очередей в черных ворон.

Потом пошел к выходу, спотыкаясь о куски

кирпича, потому что не глядел под ноги, а глядел туда, где раньше был потолок, а теперь зиял синий провал неба.

— Сытин! — крикнул Строкач, отошедший к бурам, — ты к правому колодцу иди.

— Хорошо.

— Посмотри только, не остались ли в породе шашки. А то еще рванут.

— Ладно.

— Ермоленко!

— Эге...

— Ты со мной.

— Ясно.

— Андрейка!

— Вот он я весь.

— Вижу тебя всего, — улыбнулся Строкач, — валяй к левому колодцу. Осторожней, там скользко. Ходули не поломай, они у тебя ценные.

— Ладно...

— Петухов, который Толик.

— Я Толик.

— Иди на маленькую жилу. Там вода сочится, портки промочить можешь.

— Переживу.

— Правильно сделаешь.

Люди разобрали свои буры и отошли к рабочим местам. Карбидки, прислоненные к стенам блока, освещали человеческие лица снизу. От это-

го не было видно глаз. Освещались только подбородки, ноздри и лбы. А когда каждый поднял свой бур и, упершись штангой в породу, включил ток, стали видны и зубы. Шахтеры всегда скалятся, когда бурят. И морщины на лицах тоже видны. Морщины — ярко-белые, а все лицо — пепельно-серое поначалу, а потом коричневое. Чем дольше бурят, тем гуще становится свет карбидок. Он теперь был зыбким, этот карбидный свет, словно в комнате после гостей, которые много курили.

Строкач, работая, пел. Ермоленко видел, как шевелились его губы.

Андрейка, когда бурил, смеялся. Он всегда смеялся. Когда бригада гуляла у него на дне рождения, Ермоленко спросил у его матери:

— Слышь, Петровна, а он у тебя ночью тоже смеется?

Женщина сказала:

— Смеется. Когда Федю-то убили, мне повестку принесли, я сижу около него ночью-то, около Андрейки, он смеется во сне, а я плачу. Так всю ночь: он смеется, а я ревмя реву... А вон теперь какой долдон вымахал.

Сытин, работая, морщился, как от зубной боли, кряхтел и ругался.

Когда свет карбидок совсем расплывался в пыли, Строкач кончал бурить. Сразу же следом за ним кончали бурить остальные.

Сытин быстро подходил к большому куску породы, заменявшему стол в блоке, и садился, не разбирая места, тяжело подломив ноги.

— Идет, зараза, — говорил он и вытирал пот со лба.

«Зараза» — было его любимым определением золотоносной породы. Он ненавидел золото, потому что его отец и брат погибли, преследуя золотой поезд Колчака. Сытин остался сиротой. Потом беспризорничал. А потом стал жуликом. Он воровал на базаре мясо и хлеб. Однажды он решил ограбить человека: на базаре его уже знали, а живот после двухдневной голодухи совсем подвело. Ночью на маленькой окраинной улице он напал на старика. Сытин трясся, и старик тоже трясся, пританцовывая левой ногой.

— Сынок, — прошептал старик, — я тебе золотишко отдам, только душу не губи...

Сытин заорал и ударил старика по лицу. У старика было дряблое лицо, а под глазами — синие и красные прожилки. После того как он ударил старика, ему показалось, что наступила какая-то страшная тишина. Старик заплакал, жалобно всхлипывая. Тогда Сытин схватился руками за голову, замычал что-то и упал лицом в грязь. Он катался по земле, кусал до кости запястье и выл. А старик опустился на колени и гладил его по спине. А Сытин по-прежнему выл.

— Уйди, — сказал он, — уйди отсюда, гадина старая.

Но старик не ушел. С тех пор Колька Сытин

стал жить у него в доме. У старика была коза и большая голубятня. В рудокопы — брать золото под землей — Сытин тоже пошел из ненависти к дьяволову металлу. И с первых же дней стал рекордсменом.

— Я его все вырубить хочу, — сказал он, получая в Кремле орден, — чтоб потомкам не осталось. Они без него обходиться будут. Вон, Ильич говорил, что из него уборные делать надо. Я это всенародно одобряю.

В зале смеялись и аплодировали. Только человек, вручавший Сытину орден, не смеялся со всеми. Он долго пожимал Сытину руку, а потом обнял его и поцеловал.

— Ребята, — сказал Андрейка, — охота мне поесть. А то кишка на кишку протокол пишет.

Андрейка выступал в художественной самодеятельности с танцем «Партизан». Он пришел в клуб и спросил руководительницу художественной самодеятельности:

— Здравствуйте, как вас зовут?

Крохотная двадцатилетняя балерина ответила:

— Меня зовут Марьей Петровной.

— А меня — Андреем Федоровичем.

Марья Петровна засмеялась, оглядела нескладную фигуру парня и подумала: «Ничего себе чемодан...»

Андрейка рассердился из-за того, что она на него так смотрела. Он вышел в середину зала, стал прыгать и выделывать ногами такие курбеты,

что Марья Петровна только диву давалась. С тех пор Андрейка стал танцевать у Марьи Петровны. Она поучала его:

— Диета и еще раз диета. А для вас — еще раз диета.

— Я понимаю, — отвечал Андрейка.

Но когда он пригласил Марью Петровну в ресторан, балерина чуть не лишилась дара речи. Андрейка съел три бифштекса, мазал хлеб маслом толщиной в палец и пил водку с улыбочкой и галантным придыханием. Под землей он ел еще больше. И так же много пил. Здесь, в блоке, пробивался углекислый источник, шипучий, крепкий и студеный. Андрейка набирал полную флягу и выпивал ее до дна. Потом он весело рыгал шипучим углеродом, чистил зубы спичкой и начинал рассказывать Ермоленке, который очень любил его слушать, о том, что такое «па-де-де» и как танцевали при дворе Марии-Антуанетты.

Строкач слушал Андрейку посмеиваясь, а потом, когда тот на минуту остановился, крикнул:

— Э! Толик, который Петухов! Ты чего там?

Петухов молчал.

— Эй! — крикнул Строкач громче. — Ты что?!

Петухов по-прежнему молчал.

Тогда Строкач вскочил на ноги и бросился в дальний угол, к маленькой жиле, на которой работал Петухов. Он пробежал шагов пятнадцать и увидел жилу. Она белела на фоне черной гранитной породы, эта маленькая кварцевая золотонос-

ная жила. Петухов стоял на коленях и тер локтем что-то лежавшее у него под ногами. Строкач опустился рядом с Петуховым и спросил:

— Что с тобой, парень?

Толик Петухов поднял на бригадира Строкача зеленые остановившиеся глаза и тихонько засмеялся.

— Глянь, — сказал он и поднял локоть.

Там, на земле, лежал огромный самородок. Он блестел в свете карбидки, потому что Петухов очистил его слюнями от кварцевой и гранитной пыли.

— Мой, — сказал Петухов, — мой камушек. Я нашел...

Строкач поднялся с колен и попросил:

— Встань, парень.

— Сейчас.

— Встань, — попросил Строкач, — встань, Толик.

Петухов поднялся, держа в руках самородок. Он держал его всеми пальцами, прижимая к груди. Петухов смотрел на Строкача и улыбался счастливой, отрешенной улыбкой. Тогда бригадир крякнул и ударил Петухова наотмашь по скуле. Раскинув руки, парень упал. Самородок глухо брякнулся о гранит.

Строкач боялся только одного. Он боялся, что сюда подойдет Сытин. И поэтому Строкач повторил шепотом:

— Поднимись, Толик, я прошу тебя.

Петухов броском вскочил и кинулся на Строкача опустив голову; Строкач схватил его за лац-

каны спецовки и снова ударил. И парень упал бы, но Строкач держал его за лацканы.

— А теперь — уходи, — все так же шепотом сказал Строкач.

Петухов начал пятиться к люку, ощупывая ногами породу позади себя. Строкач ждал, пока он начнет спускаться вниз, на нижний горизонт. Петухов начал спускаться медленно и тихо, словно боясь разбудить кого-нибудь. И он неотрывно смотрел на Строкача. Когда его голова скрылась, Строкач отшвырнул ногой самородок и пошел к своим людям.

Андрейка все еще рассказывал про танцы, которые танцевали у Марии-Антуанетты. Он рассказывал слово в слово так, как вчера объясняла Марья Петровна.

Строкач присел рядом со всеми и начал жевать сухой хлеб.

— Что? — спросил Ермоленко.

— С брюхом у него плохо, — ответил Строкач.

Все помолчали. Потом Строкач кашлянул и сказал:

— Ребята, около маленькой жилы — видимое золото. В самородках. Надо его собрать в каски и оттащить наверх, чтоб не растерялось. Ты оттащи, Ермоленка, ладно?

— Ладно.

— Дотащишь? Там килограмм двадцать.

— Дотащу.

— А я все-таки не наелся, — вздохнул Андрейка и отломил еще один кусок хлеба. Он густо

намазал его маслом, отрезал толстый ломоть колбасы и попросил Сытина: — Коль, подай соли.

— Чудак, — ответил Сытин, — тебе ж Мария-Антуанетта соли есть не велит, сам говорил.

— В шахте можно. Она с пóтом выйдет.

Сытин пожал плечами и протянул ему газетный кулек с солью.

— Нет, — сказал Андрейка, — с рук в руки соль передавать нельзя: поссоримся.

Строкач вдруг засмеялся и сказал:

— Вам можно с рук в руки соль передавать. Вы не поссоритесь.

Андрейка посмотрел на Строкача и тоже засмеялся.

— Ладно, — согласился он, — давай.

И он взял кулек и стал посыпать крупной белой солью красную кровяную колбасу.

РАССКАЗЫ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

ЗАПАХ СКОШЕННЫХ ТРАВ

1

Уже пятый час кряду я блуждал по тайге. Пурга застала меня на белках — безлесных, пошедших нафталиновой наледью сопках. Все окрест сделалось непроглядно белым. А белое — то же, что черное. Пурга днем беспросветна — так же как ночь без луны и без звезд.

Один мой приятель шутил:

— Если ты заблудился — в мыслях или в лесу, — остановись. Не надо никуда идти. Истина сама придет к тебе. Истина не любит излишних движений того, кто ее ищет. Она хитрая, она, как любовь, рождается в тишине.

— А что же делать с истиной Парижской коммуны? — спросил я.

— Истина Коммуны — это истина выстрела. А выстрел — оборотная сторона тишины.

Я пальнул несколько раз из обоих стволов тулки, но истина что-то не отозвалась. А для меня истиной сейчас был Саша Биштеев, охотник-тофаларец из Алыгджера.

Саша задержался в красном чуме. Я вышел на час раньше него из Алыгджера. Он был увлечен спором с охотниками по поводу новых капканов, поступивших на заготбазу. Почему-то новые капканы не понравились охотникам. Саша, наоборот, считал капканы чудом современной техники. Он осторожно убеждал в этом охотников. Спорили корректно, как дипломаты. Саша то и дело выходил из себя и поэтому улыбался чаще обычного и говорил почти шепотом.

— Иди, — сказал он мне, — я догоню. Видишь, с друзьями говорю о разном.

— Вижу, — ответил я, — только ты поскорей.

— Нельзя поскорей, — рассердился Саша, — иди, я догоню.

Саша — маленький, подвижный. Когда говорит — кажется, что за щекой у него спрятан неразгрызанный леденец. Он любит стихи. Когда я

узнал, что путь нам предстоит к Азамовым — пастухам оленьих стад, ставших зимовьем у Черной речки, — Саша сощурил глаза и спросил:

— А знаешь, почему она Черной речкой зовется?

Я не знал.

— Раньше, — объяснил Саша, — она Темной речкой называлась. А как приехали карту снимать, так я им твердить начал, что дед моего отца точно помнит: не Темная речка правильно будет, а Черная... Ну, они и поверили.

— А зачем ты так говорил?

Саша улыбнулся, заглянул мне в глаза и спросил:

— А Пушкин?

Стреножив оленей, я привязал их к себе длинной веревкой и зарылся в снег. Я решил дожидаться Саши Биштеева. Ждать пришлось долго: даже олени начали сердиться, тянуть меня из снежного укрытия.

Пурга стихла так же внезапно, как и началась. Я вылез из сугроба, размялся и обомлел: темнота обступила меня со всех сторон.

Я достал два патрона, зарядил ружье и выстрелил дуплетом. Эхо заметалось по тайге, а потом снова пришло безмолвие — еще более гнетущее, чем раньше.

«Значит, Саша все еще спорит о капканах, — подумал я. — Если он увлечется и проспорит еще два часа — будет совсем весело...»

Консервов у меня не было, хлеба тоже, тропу замело, и я не знал, куда идти: по этим местам Саша меня проводил только один раз, но днем. Хотелось пить: когда ждешь, всегда хочется пить. Я полизал снег. Заныли кончики зубов. Олени вздыхали шумно, как обиженные родственники.

«А может быть, самому пойти искать истину?» — подумал я через полчаса и снова выстрелил. Теперь мои движения значительно убыстрились: стоять на тридцатиградусном морозе в темной тайге, вдали от сухого леса, где можно развести костер, — дело не из приятных.

«Вот дурацкая история, — подумал я, когда стихло эхо, — чертовы капканы».

И снова выстрелил.

— Зачем палишь?! — крикнул где-то совсем неподалеку Саша. — Зачем патроны жжешь?

Я откашлялся и сказал:

— Так ведь холодно...

— Пошли скорей — жарко станет.

И, не останавливаясь, Саша начал спускаться с белков в тайгу.

— А ты где был? — подстраиваясь за ним, спросил я.

— Где был?! — рассердился Саша. — Песни пел, тебя искал.

— И нашел?

Саша ничего не ответил. Я не видел его лица, но почувствовал, как он улыбнулся.

— Смеешься? — спросил я.

— Это я думаю так, — ответил Саша и прибавил шаг.

Когда мы спустились в тайгу, Саша сказал:

— А ты — хитрый.

— Да, — подтвердил я, — очень хитрый.

Саша запел песню. Он пел о том, что снега в Саянах такие же синие, как и весна. Вдруг, прервав песню, он обернулся и сказал:

— Совсем ты и не хитрый. Настоящий хитрый молчит, что он хитрый. Глаз щурит, ноготь грызет...

Саша пошел дальше. Снег скрипел под пимами, подшитыми мягкой оленьей кожей. Ветер стих. Поднявшись в небо, шумели сосны.

Мы услыхали собачий лай. Саша остановился, замерев. Он долго прислушивался. А потом звонко закричал:

— Шэй лангар!

— Ты что?

— Ничего. Шэй лангар, говорю. Ставь чай — по-нашему. Как бы вроде «здравствуй» — только в тайге.

— А ты откуда знаешь, что здесь поблизости люди?

— Собак слышишь?

— Слышу.

— А где собака — там человек.

— Где человек, — поправил я, — там собака.

— Я так и сказал.

— Нет. Ты сказал наоборот.

— Наоборот говорить нельзя, — рассердился Саша, — наоборот можно только рубаху надеть

с похмелки. Если сказал, значит, верно сказал. А неверно зачем говорить? Человек что собака. Собака ведь зря лаять не станет? Не станет. А если лает зазря, так это и не собака вовсе.

— А кто же?

— Пес.

Саша шел быстро, почти бегом. Я видел в предрассветных сумерках его крепкую маленькую фигурку, всю чуть заваленную вправо. У Саши правая нога короче левой. Она у него сломана под коленом. Саша упал в шерлопах, выслеживая соболя. Два месяца он пролежал в тайге один. Нога срослась плохо, но в больницу Саша ложиться отказался.

— Так удобнее, — шутил он, — бежать легче, отдыха ногам больше: то одна, то другая отдыхает.

С тех пор он и ходит, заваливаясь вправо, будто кого-то пугает все время: «Вот упаду! вот упаду! вот упаду!»

Зимовье «Черная речка» — маленькая, ладно срубленная изба. Там пахло вялеными харнусами и сушеной малиной. В углу стоял огромный радиоприемник «Беларусь» и батареи к нему. Из Москвы передавали концерт Рахманинова. Пастухи Азамовы сидели и слушали музыку. Они курили папиросы «Северная Пальмира» и пускали дым, отворачиваясь друг от друга. Мне почему-то захотелось, чтобы они курили трубки. Наверное,

в этом виноват Фенимор Купер. Всегда хочется, чтобы профессионал охотник курил трубку и носил мокасины, сшитые из шкур убитых им животных.

Посредине зимовья стоял стол. На столе, укрытом газетами, лежали лепешки. Консервированные сливы были открыты и переложены в две тарелки. Оленья строганина возвышалась прямо посредине стола. Она лежала на подносе, а рядом, на двух листочках бумаги, были насыпаны соль и перец.

В тайге каждая новость — великая новость. Трудно рассказать, как рады здесь каждому вновь пришедшему. Но людей тайги в первую очередь отличает сдержанность. Вас никогда не станут расспрашивать о новостях до тех пор, пока вы не заговорите сами. Если вы прошли большой путь в пургу или в лютый мороз, вам сразу же предложат как следует выспаться, — что восстанавливает силу так быстро, как сон!

— Ложитесь, — сказал Азамов, когда увидел, что мы кончили завтракать, — поспите, а то устали небось.

— Ерунда, — ответил Саша и сразу же начал раздеваться.

Когда мы легли и в ноги вошла тупая радость завершенного пути, Саша сказал мне шепотом:

— Я уговорил их взять новые капканы. Я уговорил их хитростью. «Мой гость, — сказал я им о тебе, — идет по незнакомой дороге в пургу. Он идет уже три часа, а мы все спорим». Тогда они

все зашумели и стали говорить, что мой гость — это их гость. «Ну, а как будем с новыми капканами?» — спросил я. «Ладно. Мы их возьмем, — ответили они. — Торопись за гостем. Он уже три часа идет один в пурге».

Саша повернулся к стене и уснул.

Я укрылся оленьими шкурами. Под головой у меня не было подушки — ее заменяла большая охапка сена. Сено было душистое и пряное. Оно пахло солнцем и теплой хвоей.

2

Из Сталинабада до кишлака Достежум нелегкая дорога. Сначала по горному шоссе, такому высокому, что в ушах начинают рваться балалаечные струны, потом по равнине Куляб, сожженной солнцем до желтизны, по дну высохшего потока вдоль по афганской границе, по валунам ущелья и, наконец, пешком по узкой тропке, ведущей к самому кишлаку.

Я приехал в Достежум жарким августовским днем. Я должен был пойти с охотниками на отлов архаров для Таджикской базы зооцентра.

Шофер Абдали взбежал по скале легко, словно олень, хотя за плечами у него был тяжеленный рюкзак.

А я шел не торопясь, по-прежнему вспоминая вчерашнего беркута. Его показали мне в зооцентре. Беркут был огромный, старый, отловленный на

границе с Туркменией. Он сидел в самом углу клетки — хмурый, как профессор в президиуме бестолкового собрания. У нас в институте был такой профессор, специалист по религиям Востока. Он был и академик, и почетный академик, и даже член-корреспондент какой-то академии. Кажется, итальянской, — не помню точно. Его всегда усаживали в президиум на всех без исключения собраниях. Он хохлился, морщился, вертел головой, потому что ужасно не любил, когда на него все смотрели со страхом и уважением и отрывали от настоящего дела.

Орел в зооцентре сразу же напомнил мне профессора.

— Сейчас его будут кормить, — сказал начальник базы, — посмотрите, это очень смешно.

— Пойдем лучше, — сказал мне его заместитель, старый охотник Садык, — это не так уж смешно.

Но я остался. И я увидел, как в клетку к беркуту втолкнули кролика. Кролик оцепенел от ужаса и уперся лапами в цементный пол, холодный как могила. Орел посмотрел на кролика и отвернул голову: он не хотел убивать, он привык охотиться.

— Вот видите, — засмеялся начальник базы, — голодовку объявил.

Садык снова потормошил меня за рукав.

— Пойдем, — сказал он, — я лучше тебе змей покажу.

Когда мы остались одни, Садык высморкался, откашлялся и сказал свистящим шепотом:

— Гиена, а не человек.

— Зачем же ты с ним работаешь?

— Зверей люблю.

Когда мы возвращались в контору, Садык вдруг побелел и бросился к той клетке, в которой сидел орел. Я побежал за ним следом. Орел лежал, широко растопырив крылья. Они были похожи сейчас на веера модниц. Клюв у него был в крови, а грудь разорвана. Орел сам себя убил, потому что люди отняли у него родину: синее, высокое небо...

Шофер Абдали познакомил меня с бригадиром охотников Латифи. Лицо у Латифи необычайно вытянутое, все изрезанное продольными морщинами. От этого оно кажется еще более длинным, чем на самом деле. Нос совсем прямой, лоб — высокий, чересчур выпуклый. Глаз у Латифи не видно: он прячет их под черными стеклами очков.

— Хочешь посмотреть, как мы ловим архаров? — спросил он, поздоровавшись.

— Да.

— И не боишься натрудить ноги? Путь к нашему ущелью далек и труден.

Он говорил нараспев, тщательно выговаривая все буквы, а особенно старательно «о» и «у».

— Я постараюсь не мешать.

— Мешать может враг. Друг может вызвать боль сердца, а боль сердца помешает охоте. Ну, а охота важна для всей страны. Я говорю о нашей

охоте. — Латифи снисходительно улыбнулся и спросил: — Верно, люди уж сказали тебе, что о нашем Достежуме знают в зоопарках Бомбея, Лондона и Парижа?

Я изумленно посмотрел на Абдали. Тот поставил на полосатую кошму пиалу, вытер со лба пот и сказал:

— Латифи учился в медресе в Индии, оттуда он и принес столько красивых слов.

— Абдали не кончил и восьми классов, — усмехнулся Латифи, — поэтому в его разговоре совсем нет красивых слов. При желании он сможет говорить и с баранами — этому я не выучился.

Все посмеялись. Посмеялся и Латифи. Абдали сказал:

— У тебя много седых волос, и ум ты скрываешь под черными стеклами очков, иначе я бы ответил тебе.

— Белые волосы не боятся зеленых слов.

Я записал слова Латифи в блокнот. Он махнул рукой.

— Не надо. Когда записываешь — хорошее слово проходит мимо сердца, потому что ум, — он постучал пальцем по своему выпуклому лбу, — будет спокоен за память.

Я записал и эти слова Латифи. Он покачал головой и протянул Абдали свою пустую пиалу.

Абдали возвратил ему пиалу полной, почтительно придерживая правой рукой левую, чуть пониже локтя.

— Ты тоже понесешь сети? — спросил меня Латифи.

— Да.

— У нас каждый несет по тридцать килограмм. Это совсем не так уж много, если привыкнуть...

— Я постараюсь привыкнуть.

Латифи поднялся.

— Не надо быть гордым сначала, — сказал он, — лучше быть гордым в конце.

— Я понесу эти тридцать килограмм, — повторил я и тоже поднялся.

Августовское солнце — жаркое солнце. По вечерам оно делается из бесцветного ярко-красным. Горы, истомленные дневным зноем, излучают сухое, душное тепло. Надрывно кричат цикады, вспарывая криками своими томительную тишину горной страны. Внизу, в ущелье, беззвучно несется поток: его не слышно из-за того, что путь охотников идет по трехкилометровой горе, а поток, белый от злости, несется далеко внизу, по камням.

Растянувшись в цепочку, мы быстро шли по тропе в самый глухой угол Тазык-Тау, в урочище Бачемард.

Латифи шел первым, я — последним. Абдали на отлов не пошел: ему было весело в Достежуме с рыжей дочерью кузнеца Мирзы.

Когда мы выходили из кишлака, термометр показывал тридцать два градуса в тени.

Мы шли быстро, и пот разъедал глаза. Дыхание стало частым, шипящим, мешок с сетями от-

тягивал кожу на плечах и на шее. Рубаха взмокла и прилипла к спине холодным компрессом. Я смотрел только под ноги. Я видел желтую землю, желтые, иссушенные зноем травинки, желтые пластинчатые камни. Я видел только одну землю очень долго — час или два, не сосчитать. А потом я увидал на желтой земле ступню, обтянутую желтой козьей кожей. Подняв глаза, я увидел перед собой Латифи. Он стоял в шаге от тропы. Охотники, не меняя ритма и скорости, заданной им Латифи, уходили все дальше, делаясь с каждой минутой контрастней и мельче.

— Ты хорошо ходишь, — сказал Латифи.

Я понял, что он просто подбадривает меня.

— Зачем ты сдерживаешь дыхание? — спросил Латифи. — Дыши как хочется, не надо быть передо мной львом.

— Какой уж там лев...

— Ничего... Ты хорошо ходишь, я говорю правду. Только не садись, а то потом еще больше будет ныть спина. И не снимай мешок. Ношу можно снимать только в конце пути...

— Почему?

— Так... Я и сам не знаю почему.

Латифи опустился на корточки, сорвал желтую травинку и пожевал ее.

— Вкусно, — сказал он, — трава питает человека силой земли. Я знал одного — он перестал быть самим собой, когда оторвался от трав и земли.

— Ты говоришь об Антее?

— Нет, я не знаю такого. Я говорю о Насруле из Куляба.

— Как же он оторвался от земли и трав?

Латифи засмеялся и ответил:

— Он впервые полетел на самолете и так перепугался, что всем стало стыдно... Ладно, пошли, я вижу, у тебя начал шелушиться лоб — значит, ты отдохнул.

— Почему?

— Пот ушел, кожа надышалась прохладой, — чего ж больше?

И мы пошли дальше. И снова Латифи шел первым, легко перепрыгивая с камня на камень, когда мы перебирались через ручей; цепко ставя ногу на сыпучей тропе; пружиня икры — на крутых спусках.

И снова пот слепил мне глаза, и снова рубаха стала мокрой и холодной, как отчаяние и страх, и снова кожа на плечах и на шее горела, оттягиваясь назад тяжестью мешка.

Все время мне хотелось спросить Латифи, далеко ли еще осталось до места отлова, но я понимал, что не должен об этом спрашивать, ни в коем случае не должен. Я по-прежнему смотрел под ноги, и мне казалось, что тропа бесконечна. Она бросалась под мои ступни, она наваливалась на меня, убегала прочь, снова наваливалась — и так бесконечно, шаг за шагом.

— Ты очень хорошо ходишь, — сказал наконец Латифи. Он сказал это в ту минуту, когда я чув-

ствовал, как ноги у меня подгибаются, а сердце колотится где-то у горла.

Достав из кармана широких белых штанин деревянный пузырек, Латифи насыпал себе в ладонь горсть зеленого табаку.

— Я просто не думал, что ты так хорошо ходишь, — повторил он и бросил табак под язык. — Все горожане любят ездить... А теперь им ездить мало. Им надо летать. Мой внук читает книги про то, как люди будут летать в звезды. Зачем же им тогда ноги? Я думаю, что в звезды надо лететь тогда, когда на земле делать будет нечего. А на земле сейчас много дел. Ты думаешь, мы все знаем друг о друге, о зверях, о воде и о камнях на земле? Зачем же торопиться к звездам? Посмотри, какая красота на земле.

И он широким жестом руки показал мне на горы, синевшие в знойном вечернем мареве.

— Хотя, — Латифи грустно улыбнулся, — как говорил Нуширван Справедливый: «Если хочешь быть любимцем всех сердец и не вызывать ни у кого неприязни, говори так, как другим этого хочется». Знаешь, как мой внук сердится, когда я говорю ему о земле?

Латифи вздохнул и попросил меня:

— Только, пожалуйста, не записывай то, что я говорю. Надо писать совсем немного — тогда о тебе будут помнить. Как о Хайяме.

— Ты действительно учился в Индии, Латифи?

— Да. Я даже выучил пять английских слов. Теперь я их забыл.

— А сколько тебе лет?

— Семьдесят.

— Извини, что я называл тебя на «ты».

— Зови на «вы» врага, друга всегда зови на «ты».

Я поднялся и сказал:

— Пошли, Латифи, спасибо тебе, я уже отдохнул.

— Подожди. Снимай свою сеть, мы ее спрячем в этих камнях.

— Нет.

— Делай, что я говорю, — это верно, что я говорю. Мы с тобой вернемся сюда завтра и поставим сеть на косуль, — зачем же тащить тридцать килограмм в два конца?

— Я сниму сеть, только ты мне потом отдашь свой мешок.

— Нет, — ответил Латифи, — я не отдам тебе мешка. Не так уж много дней мне осталось носить его за плечами. Всю жизнь мы думаем, что молоды, а прихода старости и не замечаем. А заметим, делаемся жадными к небу, к женщинам, к плову. Иди, иди вперед, теперь я буду смотреть себе под ноги. Иди, — повторил Латифи, — я говорю правду, мне жаль отдать тебе мою усталость, потому что устает только тот, кто еще владеет своим телом. Иди, я никогда не думал, что горожане умеют ходить так хорошо...

Я стоял на месте. Тогда Латифи снял свои черные очки и приблизил ко мне свое лицо.

— Посмотри в глаза, — сказал он, — ты увидишь в них мои годы. Я прячу глаза от охотников,

потому что мои глаза — глаза старого человека. А старик не может быть вожаком. Иди, оставь мне мешок с сетями, оставь мне мою усталость, я прошу тебя. Иди...

И я пошел.

Охотников мы нагнали уже в самом урочище Бачемард. Под камнями был разложен костер.

Тавор, рыжий, как и его сестра, дочь кузнеца Мирзы, сидел откинувшись на обе руки и читал стихи. Голос у него был высокий, гортанный. Иногда он переходил со стиха на песню. Прислушавшись, я понял, что он читал Фирдоуси.

— Переведи, — попросил я, — мне все-таки трудно понимать фарсидский стих.

— Фирдоуси нельзя переводить, — сказал Латифи, — принимай его таким, как он есть. Слушай — и услышишь музыку. Ведь музыка не требует перевода, потому что принадлежит всем...

Потом пришел юноша, которого я не видел в Достежуме.

— Латифи, — сказал он, — меня послал к тебе шофер Абдали. Он велел поймать беркута.

Латифи отломил кусок лепешки, лежавшей около костра на полотняном полотнище, расшитом украинскими петухами, налил себе в кружку воды из грелки и ответил:

— Я не ловлю орлов, ты же знаешь. Я ловлю барсов и архаров.

— Я знаю. Но шофер Абдали велел обязатель-

но поймать орла, потому что у них на базе совсем нет хищных птиц.

— Каких? — удивился Латифи.

— Хищных, — повторил юноша и покраснел.

— Нет, — сказал Латифи, усмехнувшись, — я не ловлю орлов.

Он растянулся под камнями. Его голова оказалась в тени. Блики костра не освещали лица. Латифи снял очки, смежил глаза и сказал мне:

— Возьми сена и подложи под голову. К тебе вернутся силы. Помнишь, я говорил тебе, что скошенные травы полны силой земли?

— Да. Помню.

Я подложил под голову охапку сена. Оно пахло солнцем и холодом горных потоков.

Тишина плыла над землей. Нет ничего лучше, когда над миром плывет тишина, напоенная запахами лесов, трав и рек. Я вдыхал запах скошенных трав и смотрел в высокое звездное небо. Я вспоминал далекие Саяны, холодную Арктику, жаркую Бессарабию. Я вспоминал многих людей, с которыми меня сводила жизнь. Я вспоминал сильных и добрых людей, потому что таких только людей и вспоминаешь в темные августовские ночи, когда рядом затухает костер и спят люди, читающие наизусть всего Фирдоуси и Хайяма.

Я вспоминал многих людей, и воспоминания эти приходили ко мне вместе с запахами свежескошенной травы. Это запах земли, это запах родины, это запах счастья.

ЧЕЛОВЕК С СОЛНЦА

Моим товарищам по дальневосточному вагону «Литературной газеты».

Мы пришли на вершину сопки, в белый домик Службы Солнца. Мы отворили дверь со страхом и почтением. Мы вошли в царство радиотелескопов и электронных машин, мы вошли в царство наземного космоса. Первое, что мы услышали, показалось нам диким и противоестественным здесь, в этом царстве неба с дощатым полом и кедровыми стенами.

— Я свинину им не понесу. Точка, елка с палкой. У них от нее лик воротит. Им телятинку надо, елка с палкой, и чтоб не кость, а с задней части нежность самую. Понял? У них, может, от телятины мозги чище работают. Так ты и скажи, елка с палкой.

Это говорил краснолицый седой человек в тулупе, сшитом из козьих шкур, другому краснолицему седому человеку в ватнике и тяжелых унтах. Он увидел нас, смутился и крикнул:

— Константин Константинович, до вас пришли с Земли!

Из лаборатории вышел юноша в валенках, белом халате и узбекской тюбетейке. Он улыбнулся и сказал с мягким украинским акцентом:

— Прошу вас, друзья...

Мы вошли к нему в лабораторию. Следом за нами вошел человек в козьем тулупе и спросил:

— Константин Константинович, так як же быть? Брать чушку или вы телочку хочете?

Константин Константинович ответил, потупившись:

— Обязательно телочку...

Когда козий тулуп ушел, Константин Константинович объяснил нам:

— Завхоз, он ведает нашим хозяйством.

Это было объяснением человека Земли людям иных планет. И мы улыбнулись. Но потом Константин Константинович показал нам Солнце в телескоп и объяснил, что Службу Солнца не интересуют земные процессы. Служба Солнца занимается только одним — Солнцем. И мы слушали треск далеких космических шумов в огромных мягких наушниках, мы подстроились к волне Юпитера и жили какую-то минуту его позывными, его шорохами и тресками.

Мы видели отрешенное, торжественное лицо Константина Константиновича, но мы все время помнили разговор с завхозом о телочке и чушке, и это земное воспоминание было прекрасно, потому что — все же — нет ничего более прекрасного и милого человеческому сердцу, чем планета с привычным всем названием: Земля.

ГЛИНЯНЫЙ БАРАН

Я шел без проводника, потому что знал эту тайгу почти наизусть. Я шел в Саяны по Уде. Днем я искал травы. Ночью разводил костер. Олени ложились рядом со мной, около огня, и глядели в небо грустными глазами.

До Гутары мне осталось километров пятьдесят, и тогда выпал снег. Он шел беспрерывно, медленный, словно в театре. Потом ударил мороз. Река стала. Олени теперь уже не спали вместе со мной, а уходили в горы — искать под снегом ягель.

Но все-таки я успел собрать гербарий. А за день до того, как выпал снег, мне попался маленький корешок спутника винограда. Я нашел то, чего никто не мог найти здесь. Я нашел корешок спутника и доказал этим, что здесь можно разводить виноград. А это очень важно — виноград в Саянах. Это значит — у детей никогда не будет рахита. Это значит — охотники Тофалярии узнают настоящий вкус сладкого солнца, который прибавляет силы в дальнем таежном переходе.

Я очень обрадовался и заторопился в Гутару: мне хотелось поскорее радировать в Москву о находке. Я слишком заторопился: переходя реку по бревну, тронутому наледью, я поскользнулся, упал и потерял сознание.

Очнувшись, я почувствовал, как сильно вспухла нога. Колено болело нудной, тяжелой болью. Я попробовал повернуться, но сразу же закричал, и в глазах у меня пошли зеленые круги.

Олени стояли чуть поодаль. Они с интересом разглядывали меня и поводили своими замшевыми ноздрями.

Я позвал их как можно ласковее:

— Цы-цы-цы!

Я пополз к зимовью. Полз весь день и половину ночи. А избушка зимовья находилась всего в километре от реки: я все время видел ее. Я до-

брался до зимовья. На полке лежали соль, спички, пять патронов и склянка йода. Я доставал соль полчаса, то и дело задыхаясь от приступов острой боли. Я насыпал соль около порога и позвал оленей. Они стояли поодаль и смотрели на меня попрежнему выжидающе. Тогда я взял щепотку соли и швырнул ее в оленей. Те шарахнулись в сторону. Потом осторожно приблизились и слизали соль со снега. Я позвал:

— Цы-цы-цы...

Олени подошли поближе. Я кидал им соль до тех пор, пока один из них не оказался совсем рядом. Я осторожно протянул руку и взялся за веревку, свисавшую с седла. Я смотрел в глаза оленю, сыпал соль и приговаривал:

— Уш-уш-ш-ш-ш...

Потом я обвязал запястье узлом, чтобы не отпустить веревку, если потеряю сознание. Мне нужны были вьюки, потому что в них хранилась мука, порох и консервы. Я правильно сделал, что обвязал руку. Я действительно потерял сознание, когда потянулся перерезать постромки. Олень испугался и оттащил меня метров на сто. Очнувшись, я все-таки сумел перерезать постромки. Вьюки теперь лежали рядом со мной. Я был спасен.

Звезды ушли в далекую первозданную высь и там светились злым, отчаянным светом. Турецкий серп луны срезал вершины пихт. Где-то вдали кричала неведомая ночная птица.

Я вернулся в зимовье и лег на топчан, срубленный из смолистых кедровых досок. Закрыл глаза и сразу же вспомнил московскую квартиру,

стеллажи вдоль стен, два кинжала, которые мне подарил в Бухаре старик Наср. Вспомнил рог архара. Он лежал на второй полке сверху, рядом с глиняным бараном. Маленького глиняного барана я купил в Закарпатье. Он был выкрашен в голубой цвет. Нарисованные на его спине желтые дубовые листья блестели, как слюда. Его рога загибались чересчур воинственно, а широкая грудь дышала наивной отвагой. Вместо глаз у барана были маленькие дырочки. Такие же дырочки были и на копытцах. Я понял, что баран этот не простой, а музыкальный. Подуешь в правый глаз, закрыв дырочки на копытцах, — и рождается тихая, переливная песнь. Мне баран особенно понравился тем, что я, не имея слуха, играл на нем, как на свирели. Я играл песни и видел в них зеленые Карпаты, желтое небо и синюю траву.

Я сделал себе перевязку и укрепил колено между двумя березовыми палками. Так мне было легче выползать в тайгу за дровами. Я не мог рубить топором, потому что сразу же отдавало в колено страшной рвущей болью. Поэтому я резал березы часа по два финским ножом. Березы были крупные, тугие. Я боялся, как бы меня не придавило, и поэтому толкал ствол не только руками, но и головой. У меня здорово садило макушку, и я прикладывал к ней снег, чтобы не росла шишка. Я часто выползал резать дрова: надо было беспрерывно топить печь. Не только для тепла. Даже папиросная струйка дыма особенно заметна в ледяной белизне таежного неба.

Через две недели — я отмечал дни зарубками на стене — у меня кончились консервы. Я достал с полки оставленные кем-то рыболовные крючки, нажевал хлебных шариков и пополз к реке. Я полз полдня, прорубил лунку и поймал двух хариусов.

Ночью где-то вдали залаяли собаки. Я подполз к порогу, распахнул скрипучую дверь и выстрелил дуплетом. Через час в зимовье пришли девушка Алина и ее проводник, тувинец Коля. Девушка подбросила в печь дров и сказала:

— Коля, возвращайся обратно.

— Зачем?

— За людьми.

— Хорошо, — ответил Коля, — только подожди — обогреюсь маленько.

— Нет, — возразила девушка, — ты обогреешься дома.

— И передашь радисту мою записку, — попросил я, — тут кое-что о винограде.

— Хорошо, — сказал Коля, — я передам.

И он ушел.

За стенами зимовья поскрипывал снег: собаки устраивались на ночлег и повизгивали, прижимаясь друг к другу.

— Что вы делаете в тайге? — спросил я Алину.

— Роюсь в земле. А вы?

— А я роюсь в травах.

— И давно вы здесь?

— Нет, — ответил я, — не очень.

Алина заставила меня задрать штанину. Она осмотрела колено и сказала:

— Здорово распухло. Болит?

— Болит.

Алина принесла снега, растопила его на печке, промыла колено, а потом стала делать холодные компрессы. Боль постепенно стихала. У Алины были большие тонкие руки и гибкие пальцы с мягкими подушечками.

Я сказал:

— У вас пальцы, как у рыси.

Она засмеялась и ответила:

— Ведь у рыси когти.

— Все равно, — повторил я, — как у рыси.

В зимовье был только один кедровый топчан. Я подвинулся к стене и сказал:

— Ложитесь, спать пора.

Алина ответила:

— Да, пожалуй.

Она сказала это очень просто, но я заметил, как у нее потемнели глаза.

Мы лежали рядом. В печке трещали березовые поленья и выстреливали белыми искрами. За окном посвистывал ветер: по-разбойному, в два пальца. Алина почувствовала, как я смотрю на нее. Не оборачиваясь, она спросила:

— Легче теперь?

— Вроде да, — ответил я, осторожно пошевелив ногой.

Утром Алина сказала:

— Скоро придут люди.

Но люди не пришли, потому что начался буран. Он неистовствовал неделю. Наше зимовье занесло до крыши. От этого стало теплее, и топить

теперь приходилось не десять, а всего пять раз в день. Но Алина все равно очень часто уходила из зимовья.

— Куда ты уходишь? — спросил я.

— К реке.

Не знаю почему, но я спросил:

— А тебе не холодно там?

— Нет, — ответила девушка и улыбнулась, — там снег пахучий.

Я попросил ее принести мне поленце потолще.

— Зачем?

— Я вырежу тебе подарок, — ответил я.

— Какой?

— Я вырежу тебе барана.

Алина пошла искать сучок. Она пришла под вечер. Я вырезал ей барана, точь-в-точь как мой, глиняный.

— Только он не поет, — сказал я.

— А он должен обязательно петь?

— Конечно, — ответил я.

Алина взяла барана, поставила его на ладонь и сказала:

— Бэ-э! Запой, баран!

— Не смейся, — попросил я.

Девушка посмотрела на меня своими темными глазами и ничего не ответила.

Потом пришли люди. Меня отвезли в поселок и положили в больницу.

Через два дня в Гутару прилетели ребята из нашего института: они уже получили мою радиограмму о винограде. Алина пришла ко

мне проститься. За полчаса до ухода в тайгу она сказала:

— Выздоравливай.

— Спасибо тебе, — ответил я.

— И тебе спасибо.

— За что?

— Так, — ответила Алина, и глаза у нее вдруг стали светлыми, прозрачными и испуганными, — спасибо, и все тут...

УТРО РОЖДАЕТСЯ НОЧЬЮ

(Маленькая повесть)

I

Сизов вышел из кубрика, когда услыхал громыханье тяжелых кованых сапог по палубе.

«Сейчас будут швартоваться, — подумал он, — значит, приехали».

Сизов поднялся по крутым ступенькам и, взявшись рукой за медный массивный замок, остановился передохнуть.

«Восемь ступенек мне не под силу», — подумал Сизов и сделал несколько резких, сильных выдохов.

Распахнув дверь, он вышел на палубу и упал,

поскользнувшись: вся площадка перед выходом из кубрика была во льду.

Моторист катера помог Сизову подняться и, смущенно бормоча что-то о холодных штормах, начал чистить рукавом бушлата серое пальто Сизова.

— Простите, пожалуйста, товарищ директор, — сказал он, кончив чистить пальто Сизова, — соли нет, посыпать палубу нечем. Два рейса сплаваем — вот вам и ледок.

— Я понимаю...

— Так что вы уж не сердитесь, пожалуйста.

— Будет вам, — поморщился Сизов, — подошлите кого-нибудь, возьмете у нас соли.

— Спасибо большое.

— Не на чем.

Каждый раз, возвращаясь из поездок домой, на остров, Сизов несказанно радовался. Он радовался тому, что воздух здесь прозрачный и ломкий, он радовался тому, что здесь цветут лотосы, что здесь в зарослях молодого дубняка вольно гуляют олени, он радовался необозримости морской глади, злым крикам бакланов, он радовался тому миру, в котором вырос и который любил больше всего на белом свете.

Наблюдая за тем, как швартовался катер, Сизов думал: «Домой всегда возвращаются с полными ведрами». Он думал так, потому что видел, как две женщины шли с полными ведрами — от колодца к своим домам, стоявшим около берега. Сизов мог видеть и то, как швартовался катер, и то, как шли женщины с полными ведрами, о чем-то переговариваясь.

Сизов возвращался из Москвы поездом. И все девять дней он считал, сколько ему попадется женщин с полными ведрами — на счастье. И, только подъезжая к Владивостоку, понял, что гадать «на счастье» из окна вагона нельзя. Все зависело от того, в каком месте в поселках и деревнях, проносившихся за окнами вагона, вырыты колодцы. И те люди с полными ведрами, которые встречались ему на пути в Москву, никак не могли сулить счастье, потому что на обратном пути, во Владивосток, все они шли за водой — с ведрами пустыми.

— Ерунда какая, — подумал Сизов вслух и улыбнулся. Землистое, одутловатое лицо его стало беспомощным. Сизов не умел улыбаться, он привык радоваться без улыбки. Ему казалось, что олени не любят, когда человек улыбается или — еще хуже — смеется. Олени серьезны: они любят, когда человек так же серьезен, как и они. Если пантачей приманивать на соль и улыбаться им при этом, они будут бояться и не подойдут близко к человеку. Они пугливы и любят единообразие — в природе и в человеке. А улыбка ежесекундно меняет выражение лица, улыбка щурит глаза и открывает зубы. Животное боится, когда у человека сощурены глаза и открыты зубы..

2

У дебаркадера Сизова ждал его заместитель Белов и шофер Коростылев.

— Здравствуйте, Кирилл Семенович, — сказал Белов, — с приездом вас и с академиком...

— Спасибо, — ответил Сизов и крепко пожал девичью, тонкую руку Белова.

— С возвращеньицем, — пробасил вечно недовольный шофер Коростылев и понес чемодан Сизова к машине.

— Спасибо.

— Как прошли доклады? — спросил Белов.

— Неплохо...

— А кто внес предложение?

— Какое?

— Чтобы избрать вас академиком.

Сизов поморщился и, почесав переносье, сказал:

— Не помню, право. Группа товарищей, как говорится...

Белов быстро взглянул на него и спросил:

— Вам нездоровится?

— Нет, ерунда.

— Вид у вас, скажем прямо...

— Плохой?

— Да уж не цветущий.

— Послушайте, — сказал Сизов, — а как в этом году лотосы?

— Как обычно, — заметил Белов, — цвели. Позавчера на озере лотосов замерз лебедь.

— Какой?

— Перелетный. Сел в полынью ночью, крыльями размахался с усталости, а ночью мороз. Вода на крыльях смерзлась. Утром он не смог взлететь. Я велел застрелить его, потому что он кричал.

— А подобраться к нему нельзя было?

— Людям — нет. А лиса наверняка подобралась бы.

— Но сегодня же тепло...

— Кто мог знать. Позавчера был мороз.

Белов пошел к машине. Спрятав свои тонкие, девичьи руки в карманы, он сказал:

— Я велел передать его в школу. Там из него сделают чучело.

Сизов переспросил:

— Из лебедя?

— Да.

— Знаете, — сказал Сизов, — пусть Коростылев уезжает. А я пройдусь.

— Вы плохо выглядите...

— Ничего, — ответил Сизов, — все-таки я не был здесь четыре месяца.

— Коростылев! — крикнул Белов. — Езжай один! Мы пройдемся с Кирилл Семенычем.

— Нет, — попросил Сизов, — вы уж не гневайтесь, Иван Павлович, драгоценный, я один хочу пройтись.

Белов пожал плечами и сказал:

— Как вам будет угодно.

— Не сердитесь, дружище, — сказал Сизов, — пожалуйста, не сердитесь.

Белов ничего не ответил и, открыв дверцу машины, повалился на мягкое полосатое сиденье. Через несколько минут машина скрылась за поворотом. Катерок, злобно пофыркав, отвалился от дебаркадера и ушел на материк — к следующему поезду. И Сизов остался один.

3

Сизов шел по дороге, часто останавливаясь. Дышать было тяжело, и он широко разводил руки, а когда не помогало, опускался на большие валуны, прогретые мягким октябрьским солнцем.

Когда Сизов опускался на камни, тишина, лежавшая над островом, делалась осязаемой: ни единый звук не тревожил мир. Желтые листья дубков и берез казались неживыми из-за того, что не было ветра. Осенью, в безветренные дни, приморский лес кажется искусственным, словно рисованным на голубом холсте неба.

Отдышавшись, Сизов вставал с валунов и шел дальше. Около маленького домика дорожного мастера он встретился с плотником Теминым. Жилистый, длинноногий Темин шел в ватнике и резиновых сапогах, обливаясь потом. За спиной у него был мешок и ружье. Увидав Сизова, плотник заулыбался и еще издали закричал:

— Здоров, Семеныч!

— Здоров, Титыч! — так же весело ответил ему Сизов. — Ты это куда отправился?

— А на охоту, — быстрым говорком ответил Темин, — утки много идет, я ее на зиму готовлю. Она вяленая-то, что твой конпот.

— Все ты конпот говоришь, — усмехнулся Сизов, — я тебя двадцать лет учу — компот. «М» надо говорить, а не «н», — понимаешь?

— Да уж как не понять, — уклончиво ответил Темин, — ясно как божий день, только конпот — оно звучнее, Семеныч.

Сизов снова усмехнулся и спросил:

— Ну, а дела как?

— Как сажа бела, — ответил Темин и отвел глаза, — идут дела, крутятся, обратно...

— Оленник новой оградой обнес?

Темин хмыкнул и ответил сердито:

— Обнес.

— А сын как? Не балует?

— Балует, окаянный. С Никкой с Макаровой балует.

— Макар Иваныча дочь?

— Она.

— Уж так выросла?

— А чего им... Растут. Мы — к земле, они, обратно, к небу.

Темин мельком посмотрел на Сизова, хотел что-то спросить, но не стал.

«Наверное, хотел узнать, почему я так плохо выгляжу, — подумал Сизов, — а вот не стал. Это оттого, что он — добрый».

— Ну, Титыч, иди, — сказал Сизов, — а то зорьку прозеваешь.

— Пойду, — согласился Темин, — а вечером к тебе наведаюсь, разговор есть.

— Заходи.

— Утки принесу. Они сейчас жирные, что твои кабаны.

— Приноси.

Когда Темин ушел, Сизов почему-то сразу же вспомнил того молоденького врача в клинике. Это было в Москве. Сизову стало в гостинице плохо, и его увезли на «Скорой помощи» в больницу. На-

утро молоденький врач, осматривавший его, бегло просмотрел анализы и шепнул своему коллеге — такому же молодому парню:

— Явный лейкоз.

Второй взял анализы, тоже просмотрел их и сказал:

— Да, совершенно явно.

Сизов откашлялся и хрипло выговорил:

— Я знаю, что такое лейкоз. Я сам ветеринар.

Кровь отлила от щек врача. Он сделался бледным, присел на край постели и сказал:

— Я пошутил.

Сизов чувствовал, как у врача дрожали руки. И он сказал ему:

— Не нервничайте. Все правильно. Только, — он нашел в себе силу улыбнуться, — я более честен с моими пациентами, чем вы. Я никогда не пытаюсь их обмануть, как вы меня.

Сизов поднялся на локте:

— Попросите, чтобы меня выписали. Я поеду домой. Ведь я успею?

— Я только предполагал, — тихо сказал врач, — может быть, я ошибаюсь. Мы созовем консилиум... Только, пожалуйста, не говорите никому, что я так сболтнул...

Сизову показалось диким слово «сболтнул». Он растерянно посмотрел на доктора, увидал, что тому никак не больше двадцати пяти лет, и кивнул головой.

— Хорошо, я никому не скажу. Только выпишите меня.

— Подождите, — взмолился врач, — мы консилиум созовем.

— Ну, знаете, бросьте, — рассердился Сизов, — нечего вам передо мной ваньку валять. Выписывайте меня.

И его выписали в тот же день.

I

Плотник Темин был прекрасным охотником. Сизов убедился в этом семь лет тому назад, когда на остров пришли волки. Они перебрались с материка по льду залива.

Сначала никто не понимал, отчего олени так первничают. Они ушли с дальних выгонов и стали жаться к поселку. Оленухи не отпускали от себя маленьких и не разрешали молодым первородкам ходить в дубняк лакомиться листвой.

Однажды ранним утром к Сизову в кабинет пришел плотник Темин и сказал:

— Слышь, Семеныч, волки.

Сизов испугался и, вскочив со стула, прошептал:

— Не может быть...

— Может быть, — упрямо возразил Темин, — пойдем со мной, покажу. Они двух оленей задрали.

Сизов быстро оделся, и они пошли к океану.

Волки знали силу оленей. Они знали, что им не догнать пантача или оленуху где-нибудь в лесу.

А оленят матери прятали по тем склонам сопок, где не было снега. А там, где зимой нет снега, там всегда много желтых листьев. Когда олененок приляжет в листьях, пятнистая его спинка сразу же исчезает, сливаясь с цветом земли. Только что, кажется, он шел совсем рядом, но вот мать свистнула — и нет олененка, исчез. Пойди найди его!

Волки знали силу оленей. Но они знали их слабость. На льду олень бессилен. Копыта скользят, животное падает, — и волки рвут его, окружив темным, жарким кольцом.

Темин вышел рано утром к полынье около берега — половить корюшки на уху. И увидал неподалеку два больших красных пятна и клочья оленьей шкуры. Он подошел к пятнам и понял, что волки задрали двух оленей, а потом грызли лед, пропитавшийся кровью. Темин решил, что волков было много, — они не наелись и жрали лед, пропитавшийся кровью.

Он оставил удочку у полыньи и побежал к Сизову.

Когда Темин привел Сизова к месту, тот долго смотрел на большие красные пятна, которые постепенно исчезали, потому что с материка дула поземка — колючая, словно щетина.

Забежав в контору, Сизов велел заводить машину. Наскоро перекусив, он уехал на материк, к пограничникам. Вернулся Сизов под вечер с десятью солдатами. У каждого был автомат. Укрыв-

шись белыми халатами, они расположились на льду, у берега, а все жители совхоза пятнистых оленей, взяв ружья и факелы, обошли остров и начали прочесывать его с другой стороны, выгоняя волков на пограничников.

Оленеводы шли, размахивая факелами, и все время кричали. Сизов шел рядом с Теминым, который тоже все время кричал и размахивал факелом. Он всматривался в наступающие сумерки и думал: «Наверное, это было очень страшно, когда волки перебирались на остров по льду. Темнота — и только зеленые глаза горят...»

Когда оленеводы взобрались на вершину сопки, которая была как бы центром всего острова, Темин сказал:

— Сейчас палить начнут. Они вниз побежали, к берегу.

— Почему ты думаешь?

— А я не думаю. Я — слышу.

Сизов покачал головой недоверчиво, но в это время раздался сухой треск автоматных очередей.

— Сейчас вниз — бегом! — крикнул Темин.

И он первым бросился вниз, на ходу взводя курки ружья. Темин бежал по белому насту снега. Луна стояла высоко в небе, окруженная радужным сияньем, и светила ярко, словно фонарь на улице. Сизов бежал следом за Теминым опустив голову. Он с разбегу натолкнулся на плотника, чуть не повалил его и, рассердившись, крикнул:

— Ты что, Титыч?!

Тот, не отвечая, вскинул ружье к плечу и

замер, весь напружинившись. Прямо на него несся волк, мотая головой из стороны в сторону. Зверь несся прямо на Темина, потому что только здесь он мог прорваться через цепь и уйти в глубь острова.

Сизов сорвал с плеча ружье и, не целясь, выстрелил. Волк сел в снег и посмотрел на Темина круглыми зелеными глазами. Потом поднялся и пошел вперед, но теперь уже медленно. Он теперь не мотал головой, а весь подбирался для прыжка, последнего прыжка отчаянья.

Темин негромко кашлянул, и волк замер. Этого короткого мгновения оказалось достаточно для того, чтобы Темин выстрелил. Волк ткнулся мордой в снег, задергался, оскалился и замер.

Всего в ту ночь перебили двадцать семь волков.

— Смотри, сколь их было, — удивленно сказал кто-то, — сила целая их была, а задрали только двух.

Темин покачал головой и сказал:

— Дурак ты, паря. В жизни так завсегда бывает. Один гад хорошего человека никогда не одолеет. А десять — одолеют. Это я точно говорю.

— Так то ж люди...

— Обратно ты дурак, — рассердился Темин, — чем олень не человек?

Он опустился на колени перед убитым волком, заглянул ему в оскаленную пасть и коротко сказал:

— Гад!

6

Следующей зимой волки снова пришли на остров. Они зарезали Зоську — ручную оленуху. Она гуляла с сыном, и волки напали на них, когда олененку было некуда спрятаться. Зима выдалась снежная, и даже восточные склоны сопок были белыми, а не желтыми, как обычно. Ветер тоже не смог сдуть снег; перед этим была ростепель, а потом подморозило и остался хрясткий наст, ослепительно яркий и под солнцем и под луной.

Олененку некуда было спрятаться. Тогда Зоська стала отманивать волков на себя. Олененок побежал к дороге, а Зоська осталась на месте. Волки бросились к ней. Зоська вся дрожала, и ноздри у нее вздрагивали и глаза косили. Она переступала копытцами и все время следила за тем, далеко ли убежал сын. А потом побежала сама. Но она побежала слишком быстро, и волки остановились в растерянности. Они стали оглядываться назад, на олененка. Ему осталось до шоссе метров триста, не больше

Зоська заметила, что волки остановились, тогда и она стала. Она смотрела на волков, а они смотрели на нее. А олененок убегал все дальше и дальше. Два волка повернули к олененку. Тогда Зоська свистнула и пошла навстречу волкам. Двое, увидав это, остановились и бросились следом за остальными к оленухе. Зоська не стала убегать, потому что боялась за сына. И волки сшибли ее, и на снегу осталось большое красное пятно и еще клочья шерсти...

Олененок прибежал в поселок и остановился около дома Сизова. Залаяли собаки. Сизов выскочил на крыльцо, увидал олененка и принес его в дом. Сын Сизова, Алешка, назвал олененка Быстрым. Он уложил его спать на теплой веранде. С тех пор Быстрый жил в доме у директора Сизова и его сына Алешки.

6

Сизов открыл дверь своего дома, снял пальто и прошел в комнаты. Его чемодан стоял около книжного шкафа. На тахте лежала белая пижама.

«Белов предупредил, — подумал Сизов, — значит, все уже знают, что я вернулся».

Он заглянул на кухню. Сухонькая старушка с сухими руками хлопотала у плиты. Увидев Сизова, она отерла губы кончиками белого платка и поклонилась — по-сибирски, в пояс. Сизов обнял старуху и, трижды поцеловав ее, спросил:

— Где Алешка?

— В школе.

— Что, шесть уроков?

— Да нет, пять. Он потом на оленник пошел. Они там чего-то шевуют...

— Шефствуют, — поправил ее Сизов.

Тетя Лида обрадованно закивала головой и, оглядев Сизова, снова отерла кончиками платка слезы со щек.

— Помоетесь, Кирилл Семеныч?

— Помоюсь. А где Николас?

— Да где ж ему быть? На оленнике. И Алешка у него.

— Так я помоюсь, а ты сбегай за ним, тетя Лида. Позови ко мне.

Звеньевой оленеводов Николас и директор Сизов были людьми одной судьбы. Они познакомились лет десять тому назад, когда Сизов ездил в Сихотэ-Алинский заповедник. С таежного кордона Майгыз он возвращался вместе с объездчиком Николасом. Лицо у объездчика было иконописное: огромные глаза, мягкие волосы, расчесанные на прямой пробор, и крючковатый нос, чуть свернутый вправо. В седле Николас держался отвалившись назад, лихо, совсем по-казацки.

Три ночи, проведенные с человеком с глазу на глаз в пустом таежном зимовье, знакомят людей лучше, чем иные годы в городе.

Поначалу Николас был молчалив и сдержан. Постепенно он разговорился. Он стал рассказывать Сизову о том, как удэхэ шьют свои улы — мягкие мокасины, как они кладут туда траву, специальную ульную траву, и ходят по снегу долгие часы, не зная холода. Он рассказывал Сизову о том, почему синяя вода ключа Майгыз закипает сразу же, как только поставишь котелок на огонь. Николас объяснял, зачем надо пить настой чаги, отчего по вечерам кричат серые сойки, почему Полярная звезда пылает в предрассветном сине-красном небе так отчаянно ярко и будто все

время перемигивается с людьми — загадочно и хитро.

Он о многом рассказывал Сизову и многое объяснял — по-своему, спокойно и вдумчиво, как человек, научившийся мыслить вслух. А человек, размышляющий вслух, должен быть мудрым и чистым, иначе он будет самым злым негодяем. Мысль, высказанная вслух, должна быть честной и должна идти от внутренней убежденности.

Он о многом рассказывал Сизову, этот худой иконописный Николас, во время их одинокого таежного жилья на кордоне Майгыз. А когда Сизову пришло время улетать обратно на свой остров, Николас сказал:

— Я заседлаю коней и провожу тебя.

Они ехали по чащобе молча. Когда выбрались к тропе, которая шла вдоль по берегу реки, Николас сказал:

— Во-он, видишь, у того распадка на меня вышел тигр.

Сизов посмотрел на распадок между сопками, на стеклянное безмолвие льда и зажмурился: солнце играло с рекой в жмурки, слепило глаза сотнями острых, зеркальных бликов.

— Я ловил рыбу, — рассказывал Николас, — продолбил три лунки и ловил форель. А еще попадались гольцы и ленки. Я сидел на корточках и дергал тюкалку. А потом у меня устала рука. Я поднялся и, оглянувшись, увидал, как у лунки, в пяти метрах от меня, стоял уссурийский тигр и пил ледяную воду. Тигр был рыжий, большой,

с белыми усами. Мне захотелось убежать, а ноги стали ватными. Я заплакал от страха. И еще от обиды.

— Какая же тут обида? — удивился Сизов.

— Подожди, — остановил его Николас, — я тебе потом объясню. Так вот я заплакал от обиды. А тигр облизнулся, засмеялся и ушел.

Николас посмотрел на Сизова исподлобья и, закурив, сказал:

— Ты напрасно так улыбаешься. Я говорю правду: он засмеялся, этот тигр. Знаешь, так злые учителя смеются над слабыми учениками.

Сизов вспомнил своего учителя черчения. Тот всегда смеялся над теми, кто не умел соединять точки «а» и «с» в хитрую параболу. И всегда вместе с ним смеялся отличник Фадцей, который умел чертить параболу. Только Фадцей смеялся куда злее, чем сам чертежник. И Сизов поверил Николасу, и Николас почувствовал это, потому что человек всегда чувствует, когда ему верят, и стал рассказывать дальше.

— Когда тигр ушел, я смог двигаться. И я побрел к себе в зимовье. Я там жил вдвоем со слепым стариком Никодимом. Он тоже раньше был объездчиком. Теперь он умер.

«Дай мне закурить», — попросил я его.

Старик достал кисет и засмеялся.

«Ты с ней встретился, однако», — сказал он мне, по-прежнему смеясь.

Старик свернул мне цигарку и вытянул руку совсем в другую сторону, не туда, где я стоял. Он долго ждал, пока я возьму цигарку, а когда я

взял, он повторил: «Это точно, повстречался ты с ней, с тигрой нашей».

И стал он мне тогда тихие слова говорить, какие-то необыкновенно добрые, спокойные и ласковые. Редко так люди говорят и правильно делают.

— Почему? — удивился Сизов.

— Потому что людям надо говорить правду, — ответил Николас, — а правда — сурова. И надо, чтоб ее не боялись.

Николас долго молчал, потом он засмеялся, и Сизов поразился, не узнав его лица.

— Когда я был егерем в Аскания-Нова, — все еще смеясь, сказал Николас, — у меня была жена. Она красивая была очень. А я был молодой, добрый и слишком уж любил ее. И поэтому она стала мне изменять. Женщина всегда изменяет доброму и всегда любит злого. Женщина думает, что злость — это признак силы, и сама даже не понимает, как она неправа. Когда я вернулся с объезда и застал ее с другим, я сбежал из дому. Я бежал и плакал. И прибежал я к своему деду, и он стал мне говорить такие же слова, как и слепой Никодим. Я слушал его и плакал. А когда грек плачет, тогда он перестает быть мужчиной. Я уехал после этого из Аскания-Нова сюда, на Дальний Восток, и стал думать, что изменился и сделался сильным. А встретив тигра, понял, что все это не так. Меня обманула женщина, которую я любил, — я плакал. Я увидал тигра — и тоже насмерть перепугался. И тоже плакал, но уже не от страха, а от обиды, — понимаешь меня?

— Я понимаю, — ответил Сизов.

— И оба старика — черт их совсем подери, хотя стариков и нельзя поминать плохо, — по-одинаковому утешали меня, вместо того чтобы сказать правду. Со стариками любое горе и любую обиду спокойно примешь, потому что старики — мудрые. Только ведь и они пугались тигров и их обманывали женщины. И у них тоже были свои старики, которые говорили неправду, чтобы правда не казалась такой жестокой.

Сизов и Николас ехали молча. На прощание Николас сказал:

— Будь здоров, Кирилл.

Сизов обнял его и ответил:

— Будь и ты здоров.

— Не бойся тигров, — пошутил Николас, — и не бойся, когда тебя обманет женщина, которую ты любишь.

Сизов усмехнулся и сказал:

— Меня уже обманула женщина. Только я ничего не боюсь, потому что у меня есть сын.

Николас изумленно посмотрел на Сизова, а потом, рассмеявшись, посоветовал:

— Только ты не ходи к старикам за советом. Даже к таким, как я.

— Не буду! — ответил Сизов.

А через месяц Николас перебрался с таежного кордона Майгыз на остров, к Сизову.

7

Николас за последние два года сильно поседел. А за те месяцы, что Сизова не было на острове, у Николаса поседели и усы, совсем еще, кажется, недавно черные, как воронье крыло.

— Ты получил мое письмо? — спросил Сизов, поздоровавшись.

— Да, — ответил Николас, — я получил твое письмо. Оно — глупое. Умирают только те, которые боятся смерти. Или ждут ее.

— Закрой дверь, — попросил Сизов, — тетя Лида услышит.

Николас закрыл дверь, посмеиваясь.

— Сядь, — сказал Сизов. — нам надо поговорить, пока не прибежал Алешка.

Николас садиться не стал. Он отошел к окну. На подоконнике стояли горшки с цветами и две вазы с багульником. От веток багульника пахло свежевыстиранным бельем.

— Слушай, — сказал Сизов, — у меня лейкоз. Это значит — белокровие. Мне осталось месяц, два. От силы — три. Потом ты переедешь в мой дом и будешь жить с Алешкой. И не подпускай к нему его мать. Она, наверное, захочет взять его, чтобы получать пенсию. У Алешки будет большая пенсия, потому что меня избрали в академики.

— Я читаю газеты...

Сизов хмыкнул и сказал:

— Тем более.

И вдруг Николас начал смеяться.

— Перестань, — поморщился Сизов, — хватит тебе.

Николас по-прежнему смеялся.

— Пе-ре-стань! — громко, по слогам, выкрикнул Сизов, и шея у него побагровела.

Николас перестал смеяться, высморкался, спрятал платок в карман и закричал еще громче, чем сам Сизов:

— Это ты перестань!

Сизов от неожиданности вздрогнул.

— Умирают только трусы, — повторил Николас, — а особенно — в сорок пять лет.

Он отошел от окна, сел рядом с Сизовым и спросил:

— Ты что чувствуешь?

— Слабость, — быстро ответил Сизов, — все время страшная слабость.

— Ничего больше?

— И этого хватает.

Николас пожал плечами и брезгливо скривил рот.

— Ты не понимаешь, что это такое, — тихо сказал Сизов.

— Да, — ответил Николас, — я этого не понимаю. Я понимаю только то, что ты слишком быстро разделся.

— Я устал, — ясно тебе? Устал.

— Нет, не ясно. Тебе надо сходить на оленник. Тебя люди ждут.

— Не могу. Сейчас во всяком случае не могу.

Николас снова отошел к окну и сказал:

— Как знаешь...

8

Алешка ворвался в комнату неожиданно и стремительно. Секунду он неподвижно стоял на пороге, а потом бросился к отцу и повис у него на шее.

— Папка! — кричал он, захлебываясь от восторга. — Папка, дорогой! Как я рад, как я рад!

Сизов гладил Алешкины вихры и хмурился. Алешка украдкой взглянул на отца и, спрятав голову у него на груди, попросил:

— Папочка, ты не сердись, пожалуйста. Тебе Николас все сказал, да?

— Что сказал?

— Ну, про тройку. По русскому.

— Да, — протянул Сизов, — значит, все же тройка? Тяжелое дело...

Он снова погладил Алешку по вихрам и повторил:

— Очень это неприятное дело. Это кто ж тебе удружил?

— Машка, — выпалил Алешка, — Марья Ивановна. Она мне проходу не дает, все пилит: «Сделал уроки? сделал уроки?»

Сизов быстро взглянул на Николаса и увидал, как тот улыбался краешком рта. Отстранив от себя сына, Сизов посмотрел ему в глаза и сказал:

— Ладно, бог с ней, с Машкой. А вот тройку — исправь.

— Конечно, исправлю, папка!

— Ну и ладно... А подарки я тебе все же привез.

Алешка внимательно посмотрел в отцовские глаза, окруженные мелкими сетчатыми морщинками, и тихо ответил:

— Спасибо!

Сизов тоже долго смотрел в глаза сыну, а потом отстранил его и начал снимать пижаму.

— Ты куда? — спросил Алешка.

— На оленник, — ответил за Сизова Николас, — он идет на оленник.

Одевшись, Сизов сказал сыну:

— А ну, Лешка, стань к косяку.

Мальчик стал к косяку и откинул голову, чтобы отец мог лучше видеть отметины. Два раза в год он вырезал маленькие отметины на сосновом некрашеном косяке и возле каждой такой зарубки красной тушью писал дату.

Сизов посмотрел на Алешку, ставшего к косяку, и сказал изумленно:

— Ну и тянешься же ты!

Алешка ответил, кашлянув:

— Растем, папочка...

Николас усмехнулся в усы и заметил:

— Как член профсоюза говорит.

Сизов кивнул головой и спросил:

— А как Быстрый?

— Его Белов в оленник отвел, — махнув рукой, ответил Алешка.

— Ну пошли, — сказал Сизов, — пошли на оленник, Николас.

Алешка попросил:

— Пап, можно и я с тобой?

— Конечно, можно.

— Кирилл, — сказал Николас, — лучше пойдем одни.

И они пошли одни.

9

У всех оленеводов красивые и выразительные руки. И жесты у них какие-то особые: сдержанные, быстрые и грациозные.

Сизова всегда поражало: приедет откуда-нибудь с материка человек, пойдет работать в звено оленеводов и через год, самое большее — через два, весь преобразится. Кожа лица у него сделается бронзовой, голос — звонким, а руки — красивыми и выразительными.

«В жестах оленеводов есть что-то от движений пятнистых оленей, — подумал Сизов, увидав людей у ворот выгула, — в оленях тоже сочетается медлительность с неимоверной быстротой и резкостью. Это — сочетание силы. У всех сильных — и людей и животных — красивые жесты. А у сильных людей еще и особая манера говорить. . .»

Сизов поздоровался с оленеводами, спросил о погоде, об урожае, о покосах возле озера лотосов. О делах совхоза никто не начинал говорить. Таков этикет.

Вдали, там, где кончался выгул, обнесенный сетчатой загородкой, высился новый, только что поставленный забор вокруг оленника.

— Красивый забор поставили, — сказал Сизов,

как бы приглашая этим остальных к деловому разговору.

— Да-а, — протянул брат плотника Темина, Федот, по прозвищу «Танцор», — ни-ничего...

Сизов спросил:

— Ты что, братову работу не одобряешь?

— Как не одобрять? Очень даже одобряю. Работа наша, теминская. Только зачем дубом было обносить? Он тяжелый, дуб-то, оленята об него насмерть бьются, когда самочек отбиваем...

— А сосны не было?

Николас ответил:

— Была. На материке. Так ее ж оттуда везти надо, а товарищ Белов государственную копейку бережет. На транспорте экономим, на оленях — губим. А наш олень золото дает, панты...

Сизов спросил:

— У кого закурить найдется?

— Ни к чему бы, — сказал Николас.

— Да, — сразу же согласился Сизов, — ты прав. Совсем ни к чему мне курить...

10

По выгулу бродил «детсад»: олени-малыши, только что отбитые от матерей. Они то и дело подбегали к большому деревянному жбану и пили воду, весело посматривая на людей, которые проходили мимо. Люди шли в оленник, обнесенный дубовой стеной, — белой и совсем не пахучей. Дуб

не имеет запаха, в отличие от сосны, кедрача или березы.

Оленята не боялись людей, но, услыхав где-то вдалеке рев автомобильного мотора, бросились врассыпную.

Сизов посмотрел им вслед и остановился. Он долго смотрел вслед оленятам и разводил руки, чтобы отдышаться. Николас с оленеводами пошел дальше, не остановившись, и Сизов был благодарен ему за это. Когда болен сильный человек, он будет скрывать болезнь. Только слабый радуется участию окружающих, потому что сам он не в силах драться с недугом один на один.

Отдышавшись, Сизов пошел следом за оленеводами. Но быстро идти было невмоготу, и он пошел совсем медленно, то и дело останавливаясь. А потом он подумал: «Я дождусь машины, она где-то рядом. Наверное, везут оленей с дальнего выгула — сортировать в денник...»

Сизов присел на пенек и стал сгребать носком ботинка мягкие желтые листья. Листья шуршали, словно горящая бумага. Сизов вспомнил, как он сжигал письма жены, когда она убежала с острова с тем, с другим. И Сизов подивился еще раз, до чего похож звук, когда сгребаешь носком ботинка опавшие желтые листья, на тот, который он слышал десять лет тому назад, сидя у маленького, сложенного им самим камина. Алешке тогда был годик. Он стоял в своей кроватке, хлопал в ладошки и, глядя на огонь, который плясал в камине, весело кричал:

— Го-го! Го-го!

А Сизов машинально поправлял его:

— Огонь, огонь!

А потом в комнату вошла тетя Лида, взяла Алешку из кроватки и стала его укачивать. Она укачивала мальчика и говорила Сизову:

— Будет вам, Кирилл Семенович. О дерьме убиваться — так и жить-то не надо...

Сизов кивал головой и негромко повторял:

— Огонь, огонь, огонь...

11

Николас и оленеводы видели, как директор Сизов сел в машину. Шофер Вася Гусь проехал метров сто и, не заезжая в оленник, остановился, резко тормознув.

— Сейчас ему Васька все выложит, — сказал Николас, — не надо бы...

И Николас собрался идти к машине, но оленеводы остановили его, и Федот Темин, по прозвищу «Танцор», не громко и спокойно заметил:

— Так или иначе, а знать-то он должен.

Николас остановился и нерешительно спросил:

— Может, позже? Болен он...

— А что такое?

— С сердцем что-то, — солгал Николас.

— Женьшень надо пить, — посоветовал Темин, — я ему сегодня занесу, у меня на меду настоян. Корень здоровый, я его позапрошлым годом откопал.

— Или пантов наварить, — сказал низкорослый,

квадратный оленевод Макар Иванович, — я назарю ему. У меня после финской все легкие мороз изъел, врачи говорили — кранты мне. А как навар пантов попил — кровь с панта полизал, — так с той поры дышу, не жалуюсь.

Николас слушал Макара Ивановича, кивал согласно головой, а сам все время смотрел на машину. Он видел, как Вася Гусь и директор враз закурили, он видел, как Вася Гусь начал зло размахивать руками. Он говорил беспрерывно, не вынимая изо рта папироски. Сизов слушал его, полуотвернувшись к окну и пуская колечки. Они казались черными, эти колечки папиросного дыма, потому что воздух был прозрачен и чист, а в эти предвечерние часы — особенно...

Директор Сизов всегда закуривал, слушая Васю Гуся, потому что иначе слушать его не было никакой возможности. Он всегда и на всех нападал, всегда и всех критиковал, хотя был, пожалуй, самым добрым человеком на острове. Сизов познакомился с ним случайно, позапрошлой зимой, когда тянули дорогу от поселка к дальнему выгону и к лаборатории. Дорога шла по самой вершине сопки — среди валунов, здоровенных деревьев и смерзшихся комьев земли. Вася Гусь работал на строительстве дороги взрывником. Он приехал сюда в трехмесячную командировку, а остался на всю жизнь.

В тот день Сизов поднялся к строителям на сопку — посмотреть, как двигались дела. Он забрался на самую вершину и увидел, как по просеке поднимался человек в легоньком пиджачке.

Перевал, который лежал чуть ниже вершины, был закрыт облаками, моросила какая-то гадость: не то дождь, не то крупчатый мокрый снег, а скорее всего и дождь и снег вместе. Наст из-за этого был скользким, и человек, поднимавшийся по просеке, то и дело падал, прижимая к себе бумажный мешок с аммоналом и бикфордовы шнуры, смотанные в круг.

Человеком этим был Вася Гусь. Он сыпал аммонал под особенно кряжистые пни и корневища, которые не поддавались ни рукам, ни бульдозеру. Поднявшись на самую вершину, он остановился рядом с директором Сизовым. В тайге пели птицы. Они перелетали с дерева на дерево, ни на шаг не отставая от Васи Гуся.

— Беда мне с ними, — сказал он Сизову, — любит меня птица. Фамилия-то у меня какая? То-то и оно: птичья. Гоню их, пугаю, чтоб под взрывы не лезли — куда там...

Вася посмотрел на просеку, прищурив волоокие свои глаза, и сказал:

— Вы бы отошли, начальник, а то зашибет.

Сизов отошел шагов на двадцать и спрятался за деревом. Он смотрел на Васю Гуся, который стоял в легоньком распахнутом пиджаке. Вокруг него летали птицы, весело переговариваясь друг с другом и — как показалось Сизову — с человеком, фамилия у которого птичья.

Низкие серые облака разорвались, и внизу, под перевалом, засиял океан — молчаливый, бескрайний и прекрасный.

Вася долго стоял на вершине перевала. Потом

достал из кармана свисток и начал пронзительно и тревожно свистеть, предупреждая людей о взрывах. Он свистел долго и пронзительно, а потом, застегнув пиджачок, начал бегом спускаться вниз по просеке, запаливая бикфордовы шнуры, подведенные к каждой кучке аммонала. Он сбежал по просеке вниз и спрятался в укрытие, сделанное им в яме, оставшейся после корчевки пней. Он выхватил из кармана свисток и начал высвистывать совсем иначе, не так, как десять минут назад. Он теперь свистел не пронзительно и тревожно, а напевно, весело.

Сизов сначала не понял, зачем он это делал. А потом догадался. Он увидал, как к Васе слетелись птицы и расположились на ветках, в метре от него.

— Послушайте, — сказал Сизов прорабу строителей, который стоял рядом с ним, за деревом, — да он у вас дрессировщик какой-то.

— Ох и нуда этот дрессировщик, — поморщился прораб, — от него никому спокоя нет.

— Подождите, — продолжал удивляться Сизов, — а как же он птиц к себе приручил?

— А бог его знает... Ребята говорят — он их печеньем прикармливает.

Прораб хотел сказать что-то еще, но не успел, потому что начал рваться аммонал. К небу взлетали коряги, пни и щепки. И долго еще переругивалось в сопках эхо — тревожное и сердитое. А первый звук, который Сизов услыхал сразу же после того, как смолкло эхо, был неистов и радостен. Это был синичий веселый перезвон и счастливый

смех человека, который носит смерть в бумажных мешках, ругается с начальством и прикармливает птиц печеньем...

Сизов пригласил Васю Гуся на работу в совхоз, и тот остался. Сначала он был только шофером, а потом стал шофером-оленеводом. С директором Сизовым Вася говорил всегда задиристо, требуя для оленей деликатесов, не положенных по рациону. Сизов всегда ссорился с Васей из-за этого и — опять-таки поэтому — очень его любил.

И сейчас, сидя в машине, Вася Гусь говорил с Сизовым сердито и обиженно, а оленеводы стояли около дубового забора и ждали, когда их разговор кончится. А когда Вася подъехал, Сизов зло распахнул дверь машины и крикнул:

— Разгружай!

Гусь размотал медную проволоку, которой были закручены створки фургончика, открыл их и отскочил в сторону, чтобы не пугать оленей.

Из фургона, так же как из оленника после сортировки или панторезанья, олени выскакивают одинаково: быстрым прыжком. Олень стоит, замерев, превратившись в придорожное гипсовое изваяние. Потом он делает один осторожный шаг. После этого осторожного шага — такой же осторожный прыжок. Олень оглядывается резким поворотом головы, а уж потом делает несколько гигантских прыжков и скрывается в молодом дубняке.

Оленята себя ведут иначе. Когда их, загнав сначала вместе с матерями в денник, отбивают в отдельные боксы, они в тоске и страхе прыгают на одном месте, подламывая передние ножки. А когда их выпускают потом в оленник, они с разбегу кидаются куда попало и часто бьются о забор. Они ударяются головой в забор, падают, поднимаются, отбегают в сторону и снова кидаются на забор, разбиваясь в кровь. Когда забор сосновый, тогда не так страшно. Доски мягкие, они вибрируют после удара, как звук. А дубовые доски чересчур крепки — они как сталь. И оленята, после того как поставили дубовый забор, стали биться насмерть — один за другим.

Если же олененок выбегает в «детский сад», то там он начинает пищать, задрав мордочку. Он еще не умеет кричать так, как кричат взрослые олени, когда им режут панты. Он просто пищит. Совсем как ребенок. И так же быстро, как и ребенок, забывает мать, забывает отчаянье и тоску. Уже на следующий день он начинает весело играть, задирая своих товарищей.

Точно так же и сейчас. Из фургона олени выскакивали, падали и, быстро вскочив на ноги, делали первый, самый осторожный прыжок. Они видели людей и ждали какой-нибудь ловушки. Ведь поначалу арестант тоже боится своего конвоира и только потом, по прошествии нескольких месяцев, а то и лет, начинает говорить с ним о дождях, о вкусе хлеба и о здоровье дочери, кото-

рая живет далеко-далеко, у теплого южного моря, и не пишет сюда ни единой строки.

Отец Сизова после восстания на «Потемкине» был заключен в Акатуйскую каторжную тюрьму. Он и рассказывал об этом сыну каждый раз, и каждый раз, рассказывая, горько жаловался на старшую дочь, которая не писала отцу в тюрьму, потому что была замужем за телеграфистом...

В фургоне у Васи Гуся оказалось пятнадцать оленей вместо десяти, как полагалось бы. Четырнадцать смогли выдержать тяжелую дорогу, а одного — старика — Вася Гусь вытащил из фургона за ноги и бросил на желтую землю.

— Вот, — сказал он, — зато план на полтораста процентов выполнили. Бежали быстрее на ездках. Ясно, Кирилл Семенович?

— Так что же ты молчал! — закричал Сизов.

— Он не молчал, — заступился за Гуся Николас. — Мы все говорили. А он пригрозил увольнением. А если уволит, кто вместо нас сюда придет? Кто?

— Почему меня не вызвали?

— Вызывали. Только ты в больнице тогда лежал.

Сизов досадливо махнул рукой и опустился перед оленем на корточки.

— Старик, — сказал он, — ему лет двенадцать. Видите, все зубы себе стер. А поэтому бы дал килограмм на пять. Сколькими бы людям польза была, а? От старика от этого...

— План даем, — горько усмехнувшись, сказал

Вася, — товарищ Белов за план сражается. Он нибось пленными, а мы будто филиппинцы какие, а не советские...

— Да, да... — кивнул головой Сизов. — Я, кажется, помню этого старика. Он был самым сильным лет шесть тому назад. Во время гона он побеждал всех соперников. Он вымазывался в грязи, чтобы казаться страшным, и забивал копытами соперников. Насмерть. И у него всегда было самое большое стадо оленух. И потом он никогда не кричал, когда ему срезали панты. Это он, я помню точно.

Вася Гусь стал отгонять машину, оленеводы отошли к пантерезке, а Сизов остался сидеть подле мертвого оленя.

«Молодые смогли выдержать тяжелый путь, — думал он, — а старик не смог. Упал, и они затоптали его копытами. Старику надо было держаться. Или мы должны были убить его. Или — кормить манной кашей, потому что он съел свои зубы, для того чтобы быть сильным и принести людям много пантов. Он отдавал людям то, что имел. А имел он драгоценность, жизнь — панты. И нам надо было бы кормить его. Старый олень вроде старого человека. В молодости силы много, а ума — мало. В старости ума много, зато силы мало. А вот если люди будут помогать старикам приносить к мудрости юношескую силу, тогда человечество будет счастливым».

Сизов поднялся и крикнул:

— Послушай, Николас! Ты тогда говорил сруиду!

— Я говорил много ерунды в своей жизни, — ответил Николас.

Сизов засмеялся и сказал ему:

— Я подумал о стариках, к которым ты не велел мне ходить за советом.

Николас подумал и ответил:

— Может быть...

Сизов повернулся к Васе Гусю и сказал:

— Отвези-ка меня, дружище, в контору...

12

В кабинете Сизов снял пальто, сел к столу и позвонил по телефону к Белову.

— Иван Павлович, — сказал он, — зайдите ко мне, пожалуйста.

— Иду, — ответил Белов, — сейчас иду.

Сизов осторожно положил трубку на рычаг. Отодвинул от себя бумаги, сложенные для просмотра, и, сцепив пальцы, стал напевать что-то.

Когда пришел Белов, директор Сизов сказал ему:

— Мне хочется рассказать вам одну историю. У вас есть время?

— Конечно, — ответил Белов, — это очень интересно.

Сизов закрыл глаза и начал рассказывать:

— Это было лет двадцать пять тому назад. Меня взял с собой впервые дядька мой, Сидоркин, на подкорм оленей. Он привез меня в тайгу, на поляну, где к дубу был подвешен кусок рельса. Дядька взял в руки стальной прут, который он

привез с собой в телеге, и стал ударять им в рельс. Он ударил в рельс раз пять-шесть, а потом сказал мне: «Ну, валяй, кричи!»

И я закричал: «Ма-а-аськи! Ма-а-аськи, ма-а-аськи!»

Так приманивали у нас на острове оленей. И сейчас так приманивают, — вы же знаете. Но олени не шли на мой зов. Тогда, высыпая корм из мешков на землю, закричал дядька. Он кричал вроде так же, как и я, но ко мне олени не шли, а к нему они вышли. Я слышал, как шуршала листва в тайге, я видел, как олени тянулись к корму, выстроившись в цепочку.

«Вот как надо, — сказал мне тогда мой дядька Сидоркин. — А ну, давай сызнова». И я снова закричал, а олени сначала остановились, а потом стали пятиться и ушли в дубняк. Дядька мне тогда сказал: «Орать не надо. Кричать надо, олень ласку любит, что человек».

Я потом целых два года учился, пока они стали подходить на мой зов.

Сизов замолчал и открыл глаза. Белов спросил:

— Разрешите мне закурить?

— Да, прошу.

Белов молчал и курил. Он курил неторопливо, обстоятельно разглядывая со всех сторон папиросу. Дым он пускал, отворачивая голову, тонкой плотной струйкой. Затягивался Белов медленно, и при каждой затяжке у него проваливались щеки и острые скулы заливались ярким румянцем. Кончив курить, Белов отодвинул от себя пепельницу,

осторожно затушил в ней папиросу и, посмотрев в окно, спросил:

— Мне можно уйти?

Сизов ответил вопросом:

— Что вы понимаете под словом «уйти»?

— Ах, вот как, — протянул Белов и снова полез за папиросами, — это уже любопытно. Тогда я попрошу вас объяснить мне, как вы понимаете слово «уйти». Не в иносказательной, а в нашей, — он невесело усмехнулся, — бюрократической форме.

— Объяснять мне вам нечего. Вы и сами все прекрасно понимаете.

— Простите, Кирилл Семенович, мне кажется, вы себя очень плохо чувствуете, давайте этот разговор перенесем на другой раз.

— Нет, — сухо возразил Сизов, — мы не будем переносить наш разговор. У меня слишком мало времени.

— Вы что, уезжаете? По-видимому, в столицу? В Академию?

Сизов удивленно посмотрел на Белова.

— Вы говорите, что у вас осталось мало времени, — пояснил тот, — я подумал, что вы перебираетесь поближе куда-нибудь...

— Нет, — сказал Сизов, — я никуда не собираюсь уезжать.

— Тогда почему же у вас мало времени?

— Это я не о том. — Сизов потер лоб холодными пальцами и повторил, жалко улыбнувшись, — это я совсем о другом, Иван Павлович.

Белов молчал. Сизов долго ждал, когда тот заговорит, и, не дождавшись, негромко сказал:

— Вы вовсе не любите пятнышек, Иван Павлович.

— Я люблю оленей, — возразил Белов, — только я еще и порядок люблю.

— Я тоже люблю порядок.

— Да, конечно. Но вы директор. Вы можете разрешать людям делать то, что я, как заместитель, разрешить не могу.

— Именно?

— Вы плохо себя чувствуете, — повторил Белов, — я ведь вижу. Давайте не будем сегодня об этом...

— Будем, — коротко сказал Сизов, — и именно сегодня.

— Что ж, — медленно сказал Белов, — извольте.

И он снова закурил, теперь уже не спрашивая у Сизова разрешения.

— Вы разрешили оленеводам, — начал говорить Белов, — привозить с материка сосну для забора вокруг оленьего и выгулов. Я не разрешил, потому что это слишком дорого. Просто надо сделать так, чтобы олени не бились о забор — все равно какой: дубовый или сосновый. Надо сделать так, чтобы они не бились — и все... Вы разрешили делать на ладьях оленьих две гадки, а я не разрешил, потому что надо научиться доить по десять оленей за два часа, а доить или пятнадцать. Пятнадцать — лучше, чем десять. Вы считаете, что нам нужно только мясо, когда режут панты, а я считаю, что нам нужен каждый день. Вы считаете оленеводов какими-то всем-

ными, отрешенными, если хотите, а я считаю их обыкновенными рабочими. И то, что прощалось вам, мне никогда не простилось бы, потому что у меня нет научных трудов, потому что я не академик, потому что я не панибратствую с рабочими...

Сизов подвинул к себе пепельницу и сказал:

— Послушайте, а вы действительно совсем не любите оленей. И совсем не понимаете нашего дела. Очень плохо, когда из труда делают ремесло. Это недопустимо в обращении с металлом и деревом, а с оленем — тем более. А наш олень, пятнистый, — богатство страны. Он дает панты, которые продлевают людям жизнь и делают их сильными.

Белов хрустнул пальцами и поджал губы.

— Знаете, — сказал Сизов, — у меня до сих пор на западном мысе нет директора в питомнике голубых песцов. Хотите пойти туда? Это самостоятельный участок.

— Мне что, подать заявление?

Сизов секунду помедлил, а потом сказал — коротко и сердито:

— Да.

13

Дома Сизова поджидали Николас и плотник Темин с двумя подстреленными кряквами. Когда сели ужинать, Николас сказал:

— О нем в газетах писали, когда тебя не было. Образцовый, писали, хозяин. Ему бы тут

директором быть — район-то бы не нарадовался. Он бы и выкосы отдал и оленей бы старых на мясо забивать начал. Он ведь дальше района-то не видит: что ему страна... Ему бы в райгазете пропечататься на первом месте по перевыполнению...

— Он хороший хозяин, — возразил Сизов, — только он не любит оленей. Я переведу его с повышением: директором питомника голубых песцов.

— Почему? — удивился Темин.

Николас тоже удивился, но спрашивать не стал.

Сизов налил себе крепкого чая, построгал туда лимонника и намазал хлеб домашним белым маслом. Масло было несоленое, вкусом напоминавшее сливки.

— Масла мажьте побольше, — сказал Сизов, — тетя Лида сама сбила. Прелесть что за масло!

— Сейчас молоко хорошее, — заметил Темин. — его шилом хлебать можно. Оттого и масло — что твой конпот.

— Компот, — поправил Сизов.

— Я и говорю — конпот, — усмехнулся Темин и стал намазывать хлеб маслом.

— Я прошлым летом был в командировке на Командорах, на питомнике песцов. Меня по острову зверовод водил — директор был в отъезде. Только мы с ним ушли, догоняет нас корреспондент из Москвы. С блокнотом, аппаратами, все как положено. И пошел зверовода гонять. Тот корреспонденту отвечает, а у самого глаза неживые, белые. И такие бачки рыжие подстрижены... Я смотрю — меня аж мороз по коже дерет: ходит

живой мертвец, на виду румяный, все как живой делает, а все равно — мертвец. Он корреспонденту данные диктовал. Раза два поправил: «Вы, говорит, неверно записали. Мы не сто голов молодняка даем ежеквартально, а девяносто семь». А когда корреспондент записал что-то про повышение зарплаты и завысил немного, как и положено всем корреспондентам, зверовод сказал ему: «Хотите завтра посмотреть, как делают валюту?» Тот растерялся и спросил: «Какую валюту?» А зверовод ответил ему: «Обыкновенную. За песца ведь мы получаем валюту». Корреспондент сказал: «Любопытно» — и что-то записал у себя в блокноте. Тогда зверовод рассердился и сказал ему: «Мы добываем валюту ранним утром, еще до рассвета. Мех боится солнца, — вы понимаете это? Даже охотятся люди утром или вечером. Днем никто не охотится. Только разве дикари. И вот мы до рассвета тащим песцов на убой. А они чуют это, кидаются на нас, хотят укусить лицо. Как норки. Те тоже кусают лицо. А черно-бурые лисы никогда не кусают лицо. Они рвут наши руки. Те самые руки, которые кормят их...»

Корреспондент стал блокнот засовывать в карман, но никак не мог его туда засунуть.

Сизов налил себе еще один стакан чая, быстро выпил его и сказал:

— Там Белов справится. Там не нужен зверовод, там нужен работник, который трезво смотрит на вещи. А что же поделать, если он не любит оленей?

11

Ночь легла на остров. Она пришла незаметно. Она подкралась откуда-то с океана: поначалу красная, потом ослепительно-белая, потом синеватая, потом лиловатая, тихая, а уже потом — внезапно — беспроглядно черная.

Проводив Николаса и Темина, Сизов долго стоял на крыльце и слушал ночь. Шорохи ночи — особые, таинственные. Они могут казаться зловещими, если человек одинок, загадочными — если он молод, радостными — когда человек любит. Ночь может нести с собой счастье, а может нести слезы. Может нести сон. Это — кому как. Но всем людям ночь несет одно, общее: утро.

В больнице Сизову попалась книжка стихов. Ему запомнились строки:

Утром не умирают,
Утром опять живут...

Сизова слова эти потрясли. В бессонницу, когда ночь казалась ему нескончаемым кошмаром, он шептал:

Утром опять живут,
Утром опять живут...

Он ждал рассвета, и дожидался его, и засыпал только тогда, когда в палату врывались лучи холодного сентябрьского солнца.

Выписавшись из больницы, Сизов зашел в Академию — попрощаться. Перед отъездом на остров.

Никто не знал о диагнозе, и никто не мог даже и подумать о том, что Сизов высчитал дни, которые ему осталось жить на земле.

— Кирилл Семеныч, — сказала ему девушка из иностранного отдела, — к нам приехал гость из Мексики. Он ветеринар и мечтает с вами повидаться.

— Я завтра уезжаю.

— Так вы с ним встретьтесь сегодня.

— Да, но я не купил еще подарков сыну.

— Вы их купите вечером, — сказала девушка, — а мексиканец мне о вас все уши прожужжал.

Сизов встретился с мексиканцем во Дворце пионеров Бауманского района. Мексиканец приехал туда со своим сыном, десятилетним Эмилио. Мальчик был толстый, румяный и неуклюжий. Пионеры увели его к себе, а два ученых остались беседовать в кабинете директора Дворца пионеров. Говорили они долго, а потом Сизов спросил:

— Где же ваш сын?

И они отправились разыскивать Эмилио. Они нашли его на втором этаже. Мальчик стоял около рояля и тоненьким голоском, перевирая мотив, пел песню мексиканской революции. В песне говорилось о том, что значит лить кровь врага, о том, как мужественно мексиканцы били врагов. Маленький Эмилио пел, поднявшись на носки. И Сизов заплакал, потому что нельзя без слез слышать, как дети поют песни отцов — суровые и тяжелые песни борьбы. Во имя того, чтобы дети, весело улыбаясь, пели эту песню, стоило умирать.

Сизов обещал мексиканцу пообедать с ним вместе. Но сейчас он сказал:

— Простите, я побегу покупать подарки сыну. У меня такой же, как и у вас.

Сизов вошел в дом и осторожно прикрыл дверь. На зажигая света, он прошел в комнату сына и сел около его кровати. Он слушал Алешкино дыхание внимательно и сосредоточенно. Он долго сидел около кровати сына, а потом снова вышел на крыльцо, и ночь теперь не казалась ему зловещей. Она казалась ему радостной, как и все наше мироздание, она казалась ему загадочной, как и все великое мироздание наше. И Сизов не боялся теперь ночи, потому что был твердо уверен: идет утро.

15

Сизов разбудил Алешку спозаранку. В комнатах было много солнца. Оно лежало на полу, оно лезло по стенам, наверх, к потолку, оно плавало в комнатах, оно смеялось своему отражению в большом зеркале, висевшем в прихожей, и так же весело смеялось своему отражению в зеркале маленьком, которое стояло на столике, около кровати тети Лиды.

Алешка выбежал на улицу в одних трусах, облился там холодной водой и вернулся к отцу — весь раскрасневшийся и вихрастый.

— Причешись, — сказал Сизов, — а потом мы пойдем на оленник.

Алешка подпрыгнул, сделал рукой так, как делают баскетболисты, забрасывая мяч в кольцо, ткнулся мокрым холодном лицом в отцовскую шею и побежал одеваться.

Когда Сизов и Алешка пришли на оленник, все оленеводы были уже в сборе.

— Запряги нам лошадь, — попросил Сизов Николаса, — мы поедем кормить оленей.

— Хорошо, — ответил Николас, — сейчас я запрягу лошадь.

Младший брат Темина, Федот, по прозвищу «Танцор», спросил:

— Что с забором делать будем? Дуб оставим или как?

— Дуб снесем, — ответил Сизов, — сосну поставим.

А потом они пошли с Алешкой в тайгу. Лужицы, схваченные морозцем, таяли под лучами солнца и слепили глаза. Лошадь шла впереди, а Сизов, взяв Алешку за руку, шел сзади. Он шел склонив голову. Он дышал глубоко, носом, больше всего страшась почувствовать усталость, которая мучила его последние месяцы. Но он шел быстро и совсем не чувствовал усталости. И он сказал, не разжимая зубов:

— Ерунда. Все это — ерунда.

И — засмеялся. Все еще не разжимая зубов. И Алешка тоже засмеялся.

Они пришли к старому дубу. Сизов высыпал на землю корм, взял из телеги стальной прут и стал ударять им в рельс.

— Кричи, — шепнул он сыну, — кричи, Алешка.

И Алешка закричал:

— Ма-аськи! Ма-а-аськи! Мула-аськи!

Звонкий голос его несся над островом, не растворяясь и не исчезая в чистом, ломком воздухе. Он звенел беспрерывно, он звал оленей, он возвещал утро.

И Сизов, ударяя в рельс стальным прутом, думал о том, какое же это счастье — жить. Он верил теперь, что он будет жить, что он всегда будет слышать этот Алешкин голос, видеть, как из тайги выходят олени, радоваться ночной тишине, хитрому смеху плотника Темина и песне мексиканского маленького мальчика.

А над островом несся нескончаемый, вечный, как и сама жизнь, клич утра:

— Ма-аськи! Ма-а-аськи! Мула-аськи!

И зов этот не исчезал, он рос и ширился, он утверждал утро.

СОДЕРЖАНИЕ

Семнадцать в зеленой палатке 5
У синих льдов Ситмайена 68
Зарисовки, сделанные в Забайкалье . . . . . 9[illegible]
Путь в новогоднюю ночь 112
Лахме вернется в 8.00 153
Пятеро в блоке 175
Рассказы из записных книжек 187
Утро рождается ночью (*Маленькая повесть*) 214

Семенов Юлиан Семенович

УХОДЯТ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

Редактор *Э. С. Мороз*

Художник *В. В. Красновский*. Худож. редактор *В. В. Мосесов*
Техн. редактор *В. Г. Комм*. Корректор *Ф. Л. Эльштейн*

Сдано в набор 2/VI 1960 г. Подписано в печать 29/X 1960 г. А 0[illegible]585.
Бумага 84×1[illegible]. Печ. л. 8[illegible] (11,[illegible]). Уч.-изд. л. 9,27. Тираж 30 000.
Заказ № [illegible]216. Цена [illegible] коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза. Ленинград, Красная ул., 1/3

34 к.